

Аркадий и Борис Стругацкие Сказка о тройке

История непримиримой борьбы за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень, против обезлички, за здоровую критику и здоровую самокритику, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы сидели на травке в пыльном скверике под окнами заводского управления и переваривали обед — каждый по-своему. Федя читал «Китежградские новости», медленно ведя по строчкам черным неразгибающимся пальцем; мрачный Витька Корнеев лелеял обуревавшие его черные замыслы; Эдик Амперян спрашивал, Роман Ойра-Ойра отвечал; а я, не теряя драгоценного времени, загорал себе подмышки. Комаров и слепней поблизости не было, они тоже, вероятно, переваривали обед.

Внизу под обрывом величественно несла в своих хрустальных струях ядовито-оранжевые сточные воды прохладная Китежа. На другом берегу сладко томились под солнцем заливные луга. По ровной желтой насыпи, выбрасывая белые дымки, полз игрушечный поезд. На горизонте в парном мареве синела зубчатая кромка далекого леса. Над серыми башнями Старой крепости, сверкая солнечными зайчиками, совершало эволюции небольшое летающее блюдо.

Окна заводского управления были раскрыты, и слышно было, как пишущие машинки вяло и неубедительно отвечают на энергичные напористые очереди бухгалтерских «рейнметаллов». Зажмурившись, можно было легко представить себя в районе боев местного значения. В полуподвале управления, подчиняясь сложному ритму, сдвоенно и тяжело грохали печатающие механизмы табуляторов. Пикирующими бомбардировщиками визжали и завывали на складе циркулярные пилы. По бомбардировщикам выпускали обойму за обоймой скорострельные пневматические молотки. В ремонтных мастерских, устрашающе лязгая гусеницами, разворачивались танки, а где-то в цехах дальнобойно ухал паровой молот. Кроме того, у ворот склада разгружали машину листового железа — звуки были сочные, военные, но я не мог подобрать для них удовлетворительную аналогию.

— А это что за развалина? — спрашивал Эдик.

— А это Старый Китежград, — отвечал Роман.

— Тот самый?

— Тот самый. Двенадцатый век.

— А почему только две башни? — спросил Эдик.

Роман объяснил ему, что до осады было четыре: Кикимора, Аукалка, Плюнь-Ядовитая и Уголовница. Годзилла прожег стену между Аукалкой и Уголовницей, ворвался во двор и вышел защитникам в тыл. Однако был он дубина, по слухам — самый здоровенный и самый глупый из четырехглавых драконов. В тактике он не разбирался и не хотел, а потому, вместо того чтобы сосредоточенными ударами сокрушить одну башню за другой, кинулся на все четыре сразу, благо голов как раз хватало. В осаде же сидела нечисть бывалая и самоотверженная, братья Разбойники сидели, Соловей Одихмантьевич и Лягва Одихмантьевич, с ними — Лихо Одноглазое, а также союзный злой дух Кончар по прозвищу Прыщ. И Годзилла, естественно, пострадал через дурость свою и жадность. Вначале, правда, ему повезло осилить Кончара, скорбного в тот день вирусным гриппом, и в Плюнь-Ядовитую алчно ворвался Годзиллов прихвостень Вампир Беовульф, который, впрочем, тут же прекратил военные действия и занялся пьянством и грабежами. Однако это

был первый и единственный успех Годзиллы за всю кампанию. Соловей Одихмантьевич на пороге Аукалки дрался бешено и весело, не отступая ни на шаг, Лягва Одихмантьевич по малолетству отдал было первый этаж Кикиморы, но на втором укрепился, раскачал башню и обрушил ее вместе с собою на атаковавшую его голову в тот самый момент, когда хитрое и хладнокровное Лихо Одноглазое, заманившее правофланговую голову в селитряные подвалы Уголовницы, взорвало башню на воздух со всем содержимым. Лишившись половины голов, и без того недалекий Годзилла окончательно одурел, пометался по крепости, давя своих и чужих, и, брыкаясь, кинулся в отступ. На том бой и кончился. Захмелевшего Беовульфа Соловей Одихмантьевич прикончил акустическим ударом, после чего сам скончался от множественных ожогов. Уцелевшие ведьмы, лешие, водяные, аукалки, кикиморы и домовые перебили деморализованных вурдалаков, троллей, гномов, сатиров, наяд и дриад и, лишённые отныне руководства, разбрелись в беспорядке по окрестным лесам. Что же касается дурака Годзиллы, то его занесло в большое болото, именуемое ныне Коровьим Вязлом, где он вскорости и подох от газовой гангрены.

— Любопытно, — проговорил Эдик, разглядывая из-под ладони заросшие серые глыбы Аукалки и Плюни-Ядовитой. — А вход туда свободный?

— Свободный, — ответил Роман. — За пятак.

— Жалко, — сказал Эдик. — Не успею я туда сходить.

Роман промолчал, а Витька Корнеев, отвлекшись от черных мыслей, посмотрел на Эдика с состраданием.

— А вот это блюдо? — спросил Эдик. — Это наше блюдо?

— Наверное, — сказал Роман. — Колонист какой-нибудь упражняется. Чтобы навыков не растерять.

— А где сама Колония?

— В городском парке, вон на том конце города.

— Сходим? — предложил Эдик.

— Успеется, — сказал Роман.

Эдик посмотрел на часы.

— Четыре часа уже, — сказал он озабоченно. — До приема остается всего час, но, может быть, успеем? А то пока разговоры, пока бумаги подпишут...

— Пока тебе подпишут здесь бумаги, шляпа ты фетровая, — сказал грубый Корнеев, — и пока кончатся все разговоры, ты здесь икупаешься, и назагораешься, и на лыжах находишься, и женишься, и разведешься (Эдик посмотрел на него с изумлением), от Колонии тебя будет тошнить, от этих дурацких развалин тебя будет рвать...

— Что это с ним? — спросил Эдик, обращаясь к Роману. Роман, не говоря ни слова, повалился на спину и задрал ногу на ногу. Тогда Эдик поглядел на меня. Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнувший яблоками и детским смехом, такой избалованный — избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания... Витька и Роман тоже были такими две недели назад.

— Эдик, — ласково сказал я. — Ты намерен, я вижу, сегодня же вечером вернуться в Институт?

— Да, — сказал Эдик. — А что?

— И времени у тебя нет, не так ли? Вся аппаратура готова, а завтра, прямо с утра, ты хочешь начать?

— Естественно...

— И тебе так не терпится начать, что ты просто не можешь позволить себе остаться здесь еще хотя бы на день, чтобы осмотреть Колонию?

— Д-да... Вообще-то, я бы с удовольствием, но... В чем дело?

— А внимательно осмотреть крепость? — спросил я.

— А поискать зубы Годзиллы, выбитые Соловьем Одихмантьевичем? — предложил

Роман.

— И еще девочки, — сказал Витька с горечью. — Ух, какие девочки в Китежграде!

— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа. — Не смешно.

— Ты еще не знаешь, до чего все это не смешно, — сказал Роман. — Тебе вот даже не пришло в голову спросить, почему мы сидим здесь так долго — Саша уже второй месяц, а мы с Витькой третью неделю. Уж не стал ли ты, чего доброго, эгоистом?

— Ну как — почему... У Саши дела на заводе...

— А мы с Витькой?

— Н-ну... ну, я не знаю... В конце концов, почему я должен был об этом думать?

— Эгоист! — сказал Роман, с грустью укрепляясь в этом ужасном предположении относительно Эдика. — Федя, полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это — эгоист. Видите, как выглядит эгоист?

Федя вздрогнул, поглядел на Эдика поверх газеты, мучительно засмутился и, поскольку обе руки у него были заняты, в полном смятении задрал правую ногу, снял пенсне и принялся тереть линзы о штанину.

— По-моему... — пробормотал он. — Нет... Эгоист... Не может быть... Как же так...

— Спасибо, Федя, — сказал вежливый Эдик. — Это была шутка. — Он оглядел нас. — Вы хотите сказать, что здесь имеет место бюрократическая волокита, из-за которой я вынужден буду задержаться?

— Нет, — сказал я. — Нашей простой, многократно описанной и разоблаченной бюрократической волокитой здесь, к сожалению, и не пахнет.

— Волокита! — презрительно сказал Витька и сплюнул сквозь зубы на одуванчик.

Одуванчик увял.

— Волокита... — мечтательно произнес Роман. — Волокита, Эдик, это, в сущности, прекрасно. Несешь, бывало, на подпись что-нибудь исходящее, а бухгалтер, шалун этакий, посылает тебя за визой к директору... Идешь к директору, а у директора, естественно, совещание, надобно подождать, садишься в кожаные кресла, пощечечешь с референтом, полистаешь газету, а там, глядишь, и совещание закончилось, — возвращаешься к бухгалтеру, а бухгалтер, шалунишка, на обеде... Садишься в кожаные кресла, пощечечешь со счетоводом...

— Золотые люди, — сказал Витька. — День-два, и все готово...

— А здесь? — спросил Эдик с интересом.

— А здесь, Эдик, — сказал я, — ничего этого и в заводе нет. Здесь у нас — ТПРУНЯ!

— Ну и что же? Я знаю.

— Ты знаешь, что такое ТПРУНЯ? — осведомился Роман.

— Знаю. Тройка По Распределению и Учету Необъяснимых Явлений.

Витька хрипло захохотал.

— Да, — сказал Роман, качая головой. — Распределение, значит, и Учет. И как же ты себе это представляешь?

Эдик пожал плечами.

— Я никак это себе не представляю. Зачем? Два месяца назад я подал заявку. Месяц назад меня любезно уведомили о том, что моя заявка зарегистрирована. Сегодня мне понадобился экспонат из Колонии необъясненных явлений, и я за ним прибыл. Вот и все.

— Шалунишки! — вскричал вдруг Панург. — Учетчики-бухгалтеры! А между прочим, матриархат имеет свои преимущества! В Центральном московском бассейне некий гражданин повадился подныривать под купальщиц и хватать их за ноги. И вот одна из купальщиц, изловчившись, саданула его, нахального, ногой по голове. — Панург захохотал во все горло. — Она попала ему по челюсти, а сама вышла и отправилась одеваться. Проходит время, а нахального гражданина нет и нет. Вытащили его... — Панург снова захохотал. — Вытащили они его... — Панург еле говорил от смеха. — Вытащили, понимаете, они его, а он уже холодный! И челюсть сломана...

Все мы, кроме Эдика, тоже не могли удержаться от жуткого смеха, хотя я ощутил некий озноб, Роман побледнел лицом, а по шерстистому загривку Феди прошла волна. Витька же, отсмеявшись, сплюнул на анютины глазки и спросил Эдика:

— Понял?

— Не совсем, — сказал Эдик, рассматривая Панурга, утиравшего глаза шутовским колпаком.

— Не смешно тебе? — спросил Витька.

— Честно говоря, нет, — ответил Эдик.

— Ничего, привыкнешь, — пообещал Витька. — Время у тебя еще есть.

— Да, — сказал Роман. — Время у тебя теперь есть. Никогда в жизни не было у тебя так много времени. И я сейчас объясню тебе, почему. ТПРУНЯ, Эдик, это не Тройка По Распределению и Учету. ТПРУНЯ, Эдик, это Тройка По Рационализации и Утилизации.

— Ну и что же? — спросил Эдик.

— Он воображает, будто ТПРУНЯ — это что-то вроде кладовщика, — с сожалением сказал Роман, обращаясь ко мне и к Витьке. — Он воображает, будто стоит ему принести накладную, как он тут же получит все, что ему положено... Что есть ТПРУНЯ? — осведомился он, обращаясь в пространство.

Я немедленно откликнулся:

— ТПРУНЯ есть авторитетный административный орган, неукоснительно и неослабно выполняющий свои функции и никогда не подменяющий собою других административных органов.

— Понял? — сказал Витька Эдику. — Кладовщик — это кладовщик, а ТПРУНЯ — это ТПРУНЯ.

— Позвольте, — сказал Эдик, но Роман продолжал:

— Что есть Рационализация?

— Рационализация, — мрачно ответил Витька, — это такая поганая дрянь, когда необъясненное возвышается или низводится авторитетными болванами до уровня повседневщины.

— Однако позвольте... — сказал смущенный Эдик.

— А что есть Утилизация? — спросил Роман.

— Утилизация, — сказал я Эдику, — есть признание или же категорическое непризнание за рационализированным явлением права на существование в нашем бренном реальном мире.

Эдик опять попытался что-то сказать, но Роман упредил его:

— Могут ли решения Тройки быть обжалованы?

— Да, могут, — сказал я. — Но результаты не воспоследуют.

— Как мордой об стол, — разъярил Корнеев.

Эдик безмолвствовал. Выражение решительности и готовности к благородному протесту медленно сползало с его лица.

— Авторитетны ли для Тройки, — тоном провинциального адвоката спросил Роман, — рекомендации и пожелания заинтересованных лиц?

— Нет, не авторитетны, — сказал я. — Хотя и рассматриваются. В порядке поступления.

— Что есть заинтересованное... — начал Роман, но Эдик перебил его.

— Неужели Печать? — спросил он с ужасом.

— Да, — сказал Роман. — Увы.

— Большая?

— Очень большая, — сказал Роман.

— Ты такой еще не нюхивал, — добавил Витька.

— И круглая?

— Зверски круглая, — сказал Роман. — Никаких шансов.

— Но позвольте, — сказал Эдик, с видимым усилием стараясь подавить

растерянность. — Если, скажем... скажем, оквадратить? Скажем... э-э... преобразование Киврина—Оппенгеймера?..

Роман покачал головой.

— Определитель Жемайтиса равен нулю.

— Ты хочешь сказать — близок к нулю?

Витька неприятно заржал.

— А то бы мы без тебя не догадались, — сказал он. — Равен, товарищ Амперян! Равен!

— Определитель Жемайтиса равен нулю, — повторил Роман. — Плотность административного поля в каждой доступной точке превышает число Одина, административная устойчивость абсолютна, так что все условия теоремы о легальном воздействии выполняются...

— И мы с тобой сидим в глубокой потенциальной галоше, — закончил Витька.

Эдик был раздавлен. Он еще шевелил лапками, поводил усами и топорщил надкрылья, но это были уже чисто рефлекторные действия. Некоторое время он открывал и закрывал рот, потом выхватил из воздуха роскошный блокнот с золотой надписью «Делегату городской профсоюзной конференции» и принялся бешено строчить в нем, ломая и нетерпеливо восстанавливая грифель, потом вновь растворил в воздухе канцелярские принадлежности и принялся без всякого аппетита покусывать себе пальцы, бессмысленно тараща глаза на мирный пейзаж за рекой. Все молчали. Роман лежал на спине, задрав ногу на ногу, и, казалось, спал. Витька, вновь погрузившись в океан черных замыслов, шумно сопел и оплевывал окружающую натуру ядовитой слюной. Не вынеся этого душераздирающего зрелища, я отвернулся и стал смотреть, как Федя читает.

Федя был существом мягким, добрым и деликатным, и он был очень упорен. Чтение давалось ему с огромным трудом. Любой из нас уже давно бы отказался от дела, требующего таких усилий, и признал бы себя бесталанным и негодным. Но Федя был существом другой породы. Он грыз гранит, не жалея ни зубов, ни гранита. Он медленно вел палец по очередной строчке, подолгу задерживаясь на буквах «щ» и «ъ», трудолюбиво покряхтывал, добросовестно шевелил большими серыми губами, длинными и гибкими, как у шимпанзе, а наткнувшись на точку с запятой, надолго замирал, собирал кожу на лбу в гармошку и судорожно подергивал далеко отставленными большими пальцами ног. Пока я смотрел на него, он добрался до слова «дезоксирибонуклеиновая», дважды попытался взять его с налету, не преуспел, применил слоговый метод, запутался, пересчитал буквы, затрепетал и робко посмотрел на меня. Пенсне косо и странно сидело на его широкой переносице.

— Дезоксирибонуклеиновая, — сказал я. — Это такая кислота.
Дезоксирибонуклеиновая.

Он, жалко улыбаясь, поправил пенсне.

— Кислота, — повторил он перехваченным голосом. — А зачем она такая?

— Иначе ее никак не назовешь, — сочувственно сказал я. — Разве что сокращенно — ДНК... Да вы это пропустите, Федя, читайте дальше.

— Да-да, — сказал он. — Я лучше пропущу... Саша, что такое детский сад?

— Детский сад? Детский сад... — Я подумал. — Детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.

— Спасибо, Саша, — сказал Федя, и по его тону я понял, что он не удовлетворен.

— А что там написано? — спросил я.

— «У меня аптека, а не детский сад...» — по слогам прочитал Федя.

— Ясно, — сказал я. — Заведующий китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвижению молодых кадров. Так?

— Кажется, так, — сказал Федя неуверенно. — Но я все равно не понимаю... Аптека — это магазин, где продают лекарства... Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же маленькие, не понимают...

А молодые кадры — это просто молодые люди... Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не понимаю.

— Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.

— А, — сказал Федя. — Тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди — скажем, вы, Саша, — это одно, а маленькие дети — это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь? — Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза.

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:

— Вы совершенно правы, Федя.

Он снова принялся читать, а я смотрел на него и думал, какой же чудовищной мощью должна обладать Большая Круглая Печать, если одного прикосновения ее к бумаге оказалось достаточно для того, чтобы навеки закабалить этого свободолюбивого снежного человека, этого доброго и деликатного владыку неприступных вершин и превратить его в вульгарный экспонат, в наглядное пособие для популярных лекций по основам дарвинизма. Потом я услышал осторожное кваканье и обернулся. Кузька был, конечно, тут как тут. Он сидел на крыше заводского управления и робко поглядывал в нашу сторону. Я помахал ему и поманил его пальцем. Он, как всегда, страшно смутился и попятился. Я призывно похлопал ладонью по траве возле себя. Кузька смутился окончательно и спрятался за вытяжную трубу. Я пригорюнился и, подперев подбородок ладонью, стал смотреть на груды бракованных волшебных палочек, сваленных у забора среди прочего металлолома.

Из столовой вышла компания молоденьких работниц. Завидев Федю, они принялись поправлять платочки и взбивать прически, размахивать ресницами, перешихиваться и совершать прочие обыкновенные для их возраста действия. Федя дернулся, чтобы удрать, но сдержался и, потупившись, стал щипать рыжую шерсть у себя на левом предплечье. Девушки это сейчас же заметили и затянули частушку матримониального содержания. Федя жалобно улыбался. Девушки стали его окликать и приглашать вечером на танцы. Федя вспотел. Когда компания прошла, он судорожно перевел дыхание и сразу перестал улыбаться.

— Вы, Федя, пользуетесь успехом, — сказал я не без некоторой зависти.

— Да, это очень меня мучает, — произнес Федя. — Вы меня не поймете. У вас тут совсем иные порядки. А ведь у нас в горах матриархат... Я не привык... Это совершенно невыносимо, когда на тебя обращает внимание столько девушек сразу. У нас такое положение грозило бы многими бедами... Впрочем, у нас это невозможно.

— Ну, у нас это тоже бывает только в исключительных случаях, — возразил я. — И потом они больше шутили, чем что-нибудь серьезное.

Витька вдруг рявкнул:

— Хватать и тикать. Плевал я на них на всех. Подумаешь, Печать... В первый раз, что ли...

— Главное в нашем положении, — сказал Роман, не открывая глаз, — это спокойствие.

Выдержка и ледяное хладнокровие. Надо искать пути.

— Главное в нашем положении — вовремя рвануть когти, — возразил Корнеев. — Унося что-нибудь в клюве при этом, — добавил он.

— Нет-нет, — встрепенулся Эдик. — Нет! Главное в нашем положении — не совершать поступков, которых мы потом будем стыдиться.

Я посмотрел на часы.

— Главное в нашем положении — не опоздать к началу заседания. Лавр Федотович очень не одобряет опозданий.

Мы встали. Федя из вежливости тоже встал. Когда мы выходили из скверика, я обернулся. Федя уже снова читал. А Кузька сидел рядом с ним и пробовал на зуб шапочку с бубенцами, которую часто оставлял после себя Панург.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта Колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой раскрытое дело и аж подсигивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой «Представители». Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей. Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном, под зеленой суконной скатертью столе для Тройки и, все более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади коменданта, поверг его в первую панику, а когда он поднял глаза и обнаружил на стене необъятный кумачовый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации», лицо его так переменялось, что я понял: Эдик готов.

Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оной подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика.

— Посторонний! — произнес он со странным выражением.

Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Эдик пожал эту руку и представился: «Амперян». Затем он отступил и поклонился снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел пол у своих ног.

— Здорово, Зубо, — сказал грубый Корнеев. — Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас кондрат хватит.

Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожил. Действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг.

— Очень рад! — воскликнул он. — Зубо моя фамилия. Комендант я. Представитель, так сказать, городской администрации. Устраивайтесь, товарищ Амперян, располагайтесь, нам с вами еще работать и работать...

Он вдруг замолчал и рысью кинулся на свое место. И вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в

комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо — плюс научный консультант профессор Выбегалло. Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя, проследовал на председательское место, сел, водрузил перед собой огромный портфель, с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленое сукно предметы, необходимые для успешного председательствования: номенклатурный бювар крокодиловой кожи, набор шариковых авторучек в сафьяновом чехле, коробку «Герцеговины Флор», зажигалку в виде триумфальной арки и призматический театральные бинокль.

Отставной полковник мотокавалерийских войск,брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул.

Рудольф же Архипович Хлебовводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел ошую Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно при этом бегая воспаленными, с желтизной глазами по углам комнаты.

Фарфуркис по обыкновению не сел за стол. Он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сразу же сделал в ней пометку.

Никто из членов Тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания. А научный консультант профессор Выбегалло обратил. Он равнодушно оглядел нас, сдвинул брови, поднял на мгновение глаза к потолку, как бы пытаясь припомнить, где это он нас видел, не то припомнил, не то не припомнил, уселся за свой столик и принялся деятельно готовиться к исполнению своих ответственных обязанностей. Перед ним появился первый том «Малой Советской Энциклопедии», затем второй том, затем третий, четвертый...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович и обвёл присутствие взглядом, проникающим сквозь стены и видящим насквозь. Все были готовы: полковник спал, Хлебовводов нашептывал, Фарфуркис сделал вторую пометку, комендант, похожий на школьника перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а Выбегалло положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации — появление Выбегаллы его доконало.

— Вечернее заседание Тройки объявляю открытым, — сказал Лавр Федотович. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом: «Машкин Эдельвейс Захарович...», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис.

— Протестую! — крикнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу. — Где порядковый номер дела? Почему не поименованы пункты?

Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта.

— Правильное обобщение, верное, — произнес он наконец. — Поименуйте, товарищ Зубо.

Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим:

— Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович...

— С каких это пор он Машкиным заделался? — брюзгливо спросил Хлебовводов. — Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...

Лавр Федотович медленно обратил к нему каменное лицо.

— Бабкин? — произнес он. — Не помню... Продолжайте, товарищ Зубо.

— Отчество: Захарович, — дергая щекой, повторил комендант. — Год и место рождения: тысяча девятьсот первый, город Смоленск. Национальность...

— Э-диль-вейс или Э-доль-вейс? — спросил Фарфуркис.

— Э-дель-вейс, — сказал комендант.

— Дивизия СС «Эдельвейс», — прошамкал сквозь дрему полковник.

— Национальность: белорус. Образование: неполное среднее общее, неполное среднее техническое. Знание иностранных языков: русский — свободно, украинский и белорусский — со словарем. Место работы...

Хлебовводов вдруг звонко шлепнул себя по лбу.

— Да нет же! — закричал он. — Он же помер!

— Кто помер? — деревянным голосом спросил Лавр Федотович.

— Да Бабкин этот! Я же как сейчас помню — в одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году помер он от инфаркта. Был он тогда финдиректором Всероссийского общества испытателей природы, пришел, значит, в свой кабинет, сел и помер. Так что тут какая-то путаница.

Лавр Федотович взял бинокль и некоторое время изучал коменданта, потерявшего дар речи.

— Факт смерти у вас отражен? — осведомился он.

— Христом богом... — пролепетал комендант. — Какой смерти?.. Да почему же смерти?.. Да живой он, в приемной дожидается...

— Одну минуточку, — вмешался Фарфуркис. — Вы разрешите, Лавр Федотович? Товарищ Зубо, кто дожидается в приемной? Только точно. Фамилия, имя, отчество.

— Бабкин! — с отчаянием сказал комендант. — То есть, что я говорю? Не Бабкин — Машкин! Машкин дожидается. Эдельвейс Захарович.

— Понимаю, — сказал Фарфуркис. — А где Бабкин?

— Бабкин помер, — сказал Хлебовводов авторитетно. — Это я вам точно могу сказать. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом. Правда, у него сын был. Пашка, по-моему. Павел, значит, Эдуардович. Я его недавно встречал. Заведует он сейчас магазином текстильного лоскута в Голицыне, что под Москвой. Толковый работяга, но кажется, не Павел все-таки, не Пашка, нет...

Я налил стакан воды и передал коменданту. В наступившей тишине было слышно, как комендант гулко глотает. Лавр Федотович размял и продул папиросу.

— Никто не забыт и ничто не забыто, — произнес он. — Это хорошо. Товарищ Фарфуркис, я попрошу вас занести в протокол, в констатирующую часть, что Тройка считает полезным принять меры к отысканию сына Бабкина Эдуарда Петровича на предмет выяснения его имени. Народу не нужны безымянные герои. У нас их нет.

Фарфуркис закивал и принялся быстро строчить в записной книжке.

— Вы напились, товарищ Зубо? — осведомился Лавр Федотович, разглядывая коменданта в бинокль. — Тогда продолжайте докладывать.

— Место работы и профессия в настоящее время: пенсионер-изобретатель, — нетвердым голосом прочел комендант. — Был ли за границей: не был. Краткая сущность необъясненности: эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники: сирота, братьев и сестер нет.

— Позвольте, — сказал Фарфуркис. — А отец, а мать?

— Сирота, — проникновенно пояснил комендант.

— И всегда был сирота? Смешно. Я протестую.

— Он в приюте воспитывался, — сказал комендант.

— Откуда это следует?

— Ну, он мне рассказывал.

— Прошу занести в протокол, — торжественно сказал Фарфуркис. — Комендант оперирует недокументированными данными.

— Адрес постоянного местожительства: Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все.

— Все? — переспросил Лавр Федотович.

— Все ли? — саркастически осведомился Фарфуркис.

— Все! — решительно сказал комендант и утерся рукавом.

— Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки.

— Па-а машинам! — взревел вдруг полковник, не просыпаясь. — Пики перед себя! Заво-о-ди! Рысью... арш-арш!

Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до синевы Эдик немного ожил. Однако, кроме нас, на полковника никто больше внимания не обратил.

— Я бы предложил впустить, — сказал Хлебовводов. — Я почему предлагаю? А вдруг это Пашка?

— Других предложений нет? — спросил Лавр Федотович. Он пошарил по столу, ища кнопку, не нашел и сказал коменданту: — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант опрометью кинулся к двери, высунулся и тотчас вернулся, пятясь, на свое место. Следом за ним, перекосившись набок под тяжестью огромного черного футляра, вкатился сухопарый старичок в толстовке и в военных галифе с оранжевым кантом. По дороге к столу он несколько раз пытался прекратить движение и с достоинством поклониться, но футляр, обладавший, по-видимому, чудовищной инерцией, неумолимо нес его вперед, и, может быть, не обошлось бы без жертв, если бы мы с Романом не подхватили старичка в полуметре от затрепетавшего уже Фарфуркиса. Я сразу узнал этого старичка — он неоднократно бывал в нашем институте, и во многих других институтах он тоже бывал, а однажды я видел его в приемной заместителя министра тяжелого машиностроения, где он сидел первым в очереди, терпеливый, чистенький, пылающий энтузиазмом. Старичок он был неплохой, безвредный, но, к сожалению, не мыслил себя вне научно-технического творчества.

Я забрал у него тяжеленный футляр и водрузил изобретение на демонстрационный стол. Освобожденный наконец старичок поклонился и сказал дребезжащим голосом:

— Мое почтение. Машкин Эдельвейс Захарович, изобретатель.

— Не он, — сказал Хлебовводов вполголоса. — Не он и не похож. Надо полагать, совсем другой Бабкин. Однофамилец, надо полагать.

— Да-да, — согласился старичок, улыбаясь. — Принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ Выбегалло, дай ему бог здоровья, порекомендовал. Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание, а то засиделся я у вас в Колонии неприлично...

Внимательно разглядывавший его Лавр Федотович отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка, извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки, затем огляделся в поисках розетки и, обнаружив, размотал провод и воткнул вилку.

— Вот, извольте видеть, так называемая эвристическая машина, — сказал старичок. — Точный электронно-механический прибор для ответа на любые вопросы, а именно — на научные и хозяйственные. Как она у меня работает? Не имея достаточно средств и будучи отфутболиваем различными бюрократами, она у меня пока не полностью автоматизирована. Вопросы задаются устным образом, и я их печатаю и ввожу таким образом к ей внутрь, довожу, так сказать, до ейного сведения. Ответание ейное, опять через неполную автоматизацию, печатаю снова я. В некотором роде посредник, хе-хе! Так что, ежели угодно, прошу.

Он встал за машинку и шикарным жестом перекинул тумблер. В недрах машинки загорелась неоновая лампочка.

— Прошу вас, — повторил старичок.

— А что это там у вас за лампа? — подозрительно спросил Фарфуркис.

Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух:

— «Вопрос: что у нея... гм... у нея внутри за лпч?» Лэпэчэ... Кэпэдэ, наверное? Что

еще за лэпэчэ?

— Лампочка, значит, — сказал старичок, хихикая и потирая руки. — Кодирuem помаленьку. — Он вырвал у Фарфуркиса листок и побежал обратно к своей машинке. — Это, значит, был вопрос, — произнес он, загоняя листок под валик. — А сейчас посмотрим, что она ответит...

Члены Тройки с интересом следили за его действиями. Профессор Выбегалло благодушно-отечески сиял, изысканными и плавными движениями пальцев выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро постучал по клавишам и снова выдернул листок.

— Вот, извольте, ответ.

Фарфуркис прочитал:

— «У мене внутре... гм... не... неонка». Гм. Что это такое — неонка?

— Айн секунд! — воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь побежал к машинке.

Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка, затем она ответила Фарфуркису, что пишет «внутре» согласно правил грамматики, а затем...

Ф а р ф у р к и с: Какой такой грамматики?

М а ш и н а: А нашей русской грмтк.

Х л е б о в в о д о в: Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович?

М а ш и н а: Никак нет.

Л а в р Ф е д о т о в и ч: Грррм... Какие будут предложения?

М а ш и н а: Признать мене за научный факт.

Старик бегал и печатал с невероятной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись, гыгыкал, как в цирке.

Х л е б о в в о д о в (*раздраженно*): Я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесьть на ветру?

М а ш и н а: Ввиду стремления.

Х л е б о в в о д о в: Да уберите вы от меня ваш листок! Я вас ни про чего не спрашиваю, можете вы это понять?

М а ш и н а: Так точно, могу.

До Тройки наконец дошло, что, если они хотят кончить когда-нибудь сегодняшнее заседание, им надлежит воздержаться от вопросов, в том числе и от риторических. Наступила тишина. Старичок, который основательно умаялся, присел на краешек кресла и, часто дыша полуоткрытым ртом, вытирался платочком. Выбегалло горделиво озирался.

— Есть предложение, — тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. — Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение.

Лавр Федотович поглядел на Выбегаллу и величественно наклонил голову. Выбегалло встал. Выбегалло любезно ослабился. Выбегалло прижал правую руку к сердцу. Выбегалло заговорил.

— Эта... — сказал он. — Неудобно, Лавр Федотович, может получиться. Как-никак, а же суизан рекомедатель сет нобль вё.¹ Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион... А между тем случай очевидный, достоинства налицо, рационализация... эта... осуществлена в ходе эксперимента... Не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное... эта... постороннее. Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов Александр Иванович... (Я вздрогнул.) Компетентный товарищ по электронным машинам. И незаинтересованный. Пусть он. Я так полагаю, что это

¹ Я — рекомедатель этого благородного старика («французский диалект» Выбегаллы СМ. ПРИМ. Т.3. Стр. 501. — Прим. ред.).

будет ценно.

Лавр Федотович взял бинокль и начал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. Витька гыгыкал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем, а Эдик умоляюще шептал: «Саша, надо! Дай им! Такой случай!»

— Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя оказать содействие работе Тройки.

Лавр Федотович отложил бинокль и дал согласие. Теперь все смотрели на меня. Я бы, конечно, ни за что не стал впутываться в эту историю, если бы не старичок. Сет noble всё хлопал на меня красными веками столь жалостно, и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня бога молить, что я не выдержал. Я неохотно встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался. Витька елозил ногами от восторга. Я осмотрел агрегат и сказал:

— Ну хорошо... Имеет место пишущая машинка «ремингтон» выпуска тысяча девятьсот шестого года в сравнительно хорошем состоянии. Шрифт дореволюционный, тоже в хорошем состоянии. — Я поймал умоляющий взгляд старикашки, вздохнул и пощелкал тумблером. — Короче говоря, ничего нового данная печатающая конструкция, к сожалению, не содержит. Содержит только очень старое...

— Внутри! — прошелестел старичок. — Внутри смотрите, где у нее анализатор и думатель...

— Анализатор... — сказал я. — Нет здесь анализатора. Серийный выпрямитель — есть, тоже старинный. Неоновая лампочка обыкновенная. Тумблер. Хороший тумблер, новый. Та-ак... Еще имеет место шнур. Очень хороший шнур, совсем новый... Вот, пожалуй, и все.

— А вывод? — живо осведомился Фарфуркис.

Эдик ободряюще мне кивал, а Витька с Романом одновременно показали мне, как надлежит делать хук справа в челюсть. Я дал им понять, что постараюсь.

— Вывод, — сказал я. — Описанная машинка «ремингтон» в соединении с выпрямителем, неоновой лампочкой, тумблером и шнуром не содержит ничего необъясненного.

— А я? — вскричал старичок.

Роман с Витькой показали мне хук слева, но этого я не мог.

— Нет, конечно... — промямлил я. — Прделана большая работа... (Эдик схватился за виски.) Я, конечно, понимаю... добрые намерения... (Роман смотрел на меня с презрением.) Ну, в самом деле, — сказал я, — человек старался... нельзя же так... («Кретин, — отчетливо произнес Витька, — Годзилла...») Нет... Ну что ж... Ну пусть человек работает, раз ему интересно... Я только говорю, что необъясненного ничего нет... А вообще-то даже остроумно...

— Какие будут вопросы к врию научного консультанта? — осведомился Лавр Федотович.

Уловив вопросительную интонацию, старичок взвился и рванулся было к своей машине, но я удержал его, обхватив за талию.

— Да-да, — сказал Фарфуркис. — Придержите его, а то тяжело работать, в самом деле. Все-таки у нас здесь не вечер вопросов и ответов.

— Правильно! — подхватил Хлебовводов, а старикашка все бился и рвался у меня из рук, так что я ощущал себя жандармом на задании. — И вообще, выключите ее пока, нечего ей подслушивать.

Высвободив одну руку, я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и старичок сейчас же затих.

— А вот все-таки у меня есть вопрос, — продолжал Хлебовводов. — Как же это она все-таки отвечает?

Я обалдело воззрился на него. Роман и Витька мрачно веселились. Эдик пришел в себя и теперь, жестко прищурившись, разглядывал Тройку. Выбегалло был доволен. Он извлек из

бороды длинную щепку и вонзил ее между зубами.

— Выпрямители там, тумбы разные, — говорил Хлебовводов, — это нам товарищ врио все довольно хорошо объяснил. Одного он нам не объяснил: фактов он нам не объяснил. А имеется непреложный факт, что когда задаешь ей вопрос, то получаешь тут же ответ. В письменном виде. И даже когда не ей, а кому другому задаешь вопрос, все равно обратно же получаешь ответ. А вы говорите, товарищ врио, ничего необъясненного нет. Не сходятся у вас концы с концами. Непонятно нам, что же говорит по данному поводу наука.

Наука в моем лице потеряла дар речи. Хлебовводов меня сразил, зарезал он меня, убил и в землю закопал. Зато Выбегалло отреагировал немедленно.

— Эта... — сказал он. — Так ведь я и говорю, ценное же начинание! Элемент необъясненности имеется, порыв снизу... Почему я и рекомендовал. Эта... — сказал он старику. — Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.

Старичок словно взорвался.

— Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутри, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечающего...

У меня потемнело в глазах. Рот наполнился хиной, заболели зубы, а проклятый нобль всё все говорил и говорил, и речь его была гладкой и плавной, — это была хорошо составленная, вдумчиво отрететированная и уже неоднократно произнесенная речь, в которой каждый эпитет, каждая интонация были преисполнены эмоционального содержания, это было настоящее произведение искусства, и, как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным, преображала и поднимала его на несколько ступенек выше. Старик был никаким не изобретателем — он был художником, гениальным оратором, достойнейшим из последователей Демосфена, Цицерона, Иоанна Златоуста. Шатаясь, я отступил в сторону и прислонился лбом к холодной стене...

...Они внимательно слушали. Слушал седой полковник, пристально глядя из-под клочковатых бровей, и в полусумраке торжественно и грозно блестело золотое шитье его мундира, и тускло отсвечивали тяжелые гроздья орденов. Слушал Лавр Федотович, опустив на руки мощный череп, ссутулив широкие плечи, обтянутые черным бархатом мантии. Хлебовводов слушал, подавшись вперед, весь собранный в хищном напряжении, стиснув узорные подлокотники большими белыми руками, прижав грудью к краю стола массивную платиновую цепь. А Фарфуркис слушал задумчиво, откинувшись на спинку кресла, уставив неподвижный взгляд в низкий сводчатый потолок.

Изобретатель уже давно замолчал, но все оставались неподвижны, словно продолжали вслушиваться в глубокую средневековую тишину, мягким бархатом повисшую под скользкими сводами. Потом Лавр Федотович поднял голову и встал.

— По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. — Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений...

Теперь слушал изобретатель, — неподвижный, как изваяние, рядом со своим Големом, рядом со своим чудовищным железным Оракулом, во чреве которого медленно возгорались и гасли угрюмые огни.

— Мы — гардианы науки, — продолжал Лавр Федотович, — мы — ворота в ее храм, мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди, мы не знаем снисхождения, жалости, лицепрятия. Для нас существует только одно мерило: истина. Истина отдельна от добра и зла, истина отдельна от человека и человечества, но только до тех пор, пока существуют добро и зло, пока существуют человек и человечество. Нет человечества — к чему истина? Никто не ищет знаний, значит — нет

человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит — не надо искать знаний, значит — нет человечества, и к чему же тогда истина? Когда поэт сказал: «И на ответы нет вопросов», — он описал самое страшное состояние человеческого общества — конечное его состояние... Да, этот человек, стоящий перед нами, — гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы. И не обсуждать должно нам, а судить! Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю: смерть!

— Смерть человеку и распыление машине, — хрипло сказал полковник.

— Смерть — человеку... — медленно и как бы с сожалением проговорил Хлебовводов. — Распыление — машине... и забвение всему этому казусу. — Он прикрыл глаза рукой.

Фарфуркис выпрямился в кресле, глаза его были зажмурены, толстые губы дрожали. Он открыл было рот и поднял сжатый кулачок, но вдруг помотал головой и капризно произнес:

— Ну, товарищи... ну куда это мы с вами заехали, в самом деле? Нельзя же так...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, ворочая шеей.

Хлебовводов, смутно видимый в сгустившихся сумерках, сунулся носом в большой клетчатый платок и проговорил невнятно:

— Свет зажечь, что ли, пора? Засиделись мы нынче.

Комендант сейчас же сорвался с места и включил свет. Все зажмурились, а мотокавалерийский полковник всхрапнул и проснулся.

— Как? — произнес он дребезжащим голосом. — Уже? Я за то, чтобы это продвинуть... продвинуть. Мотокавалерия все решает. Пики... шашки... клиренс подходящий... Засекается на левую заднюю, но это устранимо... устранимо... Так что мое мнение — продвинуть.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович и уставился мертвым взглядом в «ремингтон». — Выражая общее мнение, постановляю: данное дело номер сорок второе считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.

Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а затем, прежде чем я успел увернуться, и мне тоже. Он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на ребят. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне «ремингтоном» в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно поцеловал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула. Помню только, что Витька сказал мне: «Дубина прекраснодушная». Роман вытер мне нос платком, а Эдик шепнул: «Эх, Саша! Ну ничего, с кем не бывает...»

Между тем комендант перелистал все дело и жалобным голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебовводов начал орать, что эти штучки не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост четыре часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебовводов выиграл еще пуще.

— А вдруг это родственник моему Бабкину? — вопил он. — Как это так — нет заявок? Должны быть заявки! Вы только поглядите, старичок какой! Фигура какая самобытная, интересная! Как это мы будем такими старичками бросаться?

— Народ не позволит нам бросаться старичками, — заметил Лавр Федотович. — И

народ будет прав.

— Вот именно! — рявкнул вдруг Выбегалло. — Именно народ! И именно... эта... не позволит, значить! Как же это нет заявок, товарищ Зубо? На Черный Ящик у вас заявочка есть? Есть! Как же вы говорите, что нет?

Я обомлел.

— Погодите! — сказал я, но меня никто не слушал.

— Так это же не Черный Ящик! — кричал комендант, истово прижимая к груди руки. — Черный Ящик совсем по другому номеру проходит!

— Как это так не черный? — кричал в ответ Выбегалло, размахивая обшарпанным черным футляром от «ремингтона». — Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть? Или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь?

Комендант жалобно выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то, тот черный ящик проходит по делу под номером девяносто седьмым, и на него заявка имеется, вот товарища Привалова Александра Ивановича заявка, а этот черный ящик — и не ящик вовсе, а эвристическая машина, и проходит она по делу под номером сорок вторым, и заявки на нее нет. Выбегалло орал, что нечего тут... эта... жонглировать цифрами и бросаться старичками, что черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значить, махизм разводить и всякий эмпириокритицизм, а пусть вот товарищи члены авторитетной Тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Проснувшийся от шума полковник выкатил глаза и отдал приказ взять повод, переменить потники и врубить третью скорость. Витька оглушительно свистел в два пальца, Роман с Эдиком кричали: «Долой!» — а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой Черный Ящик — это не ящик... Мой Черный Ящик — это не ящик...»

Наконец до Лавра Федотовича дошло ощущение некоторого не порядка.

— Грррм! — сказал он, и все стихло. — Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните.

Хлебовводов твердым шагом подошел к Выбегалле, взял у него из рук футляр и внимательно осмотрел его.

— Товарищ Зубо, — сказал он. — На что ты имеешь заявку?

— На Черный Ящик, — уныло сказал комендант. — Дело номер девяносто седьмое.

— Я тебя не спрашиваю, какое номер дело, — возразил Хлебовводов. — Я тебя сейчас спрашиваю, ты на черный ящик заявку имеешь?

— Имею, — признался комендант.

— Чья заявка?

— Товарища Привалова из НИИЧАВО. Вот он сидит.

— Да, — страстно сказал я, — но мой Черный Ящик — это не ящик... точнее — не совсем ящик...

Однако Хлебовводов внимания на меня не обратил. Он посмотрел футляр на свет, потом приблизился к коменданту и зловеще произнес:

— Ты что же бюрократию разводите? Ты что же, не видите, какого оно цвета? На твоих же глазах рационализацию произвели, вот товарищ представитель от науки на твоих глазах сидит, ждет, понимаете, выполнения заявки, ужинать давно пора, на дворе темно, а ты что же — номерами здесь жонглируете?

Я чувствовал, что на меня надвигается какая-то тоска, что будущее мое заполняется каким-то унылым кошмаром, непоправимым и совершенно иррациональным. Но я не понимал, в чем дело, и только продолжал жалко бубнить, что мой ящик — это не совсем ящик, а точнее, совсем не ящик. Мне хотелось разъяснить, рассеять недоразумение. Комендант тоже бубнил что-то убедительное, но Хлебовводов, погрозив ему кулаком, уже возвращался на свое место.

— Ящик, Лавр Федотович, черный, — с торжеством доложил он. — Ошибки никакой быть не может, сам смотрел. И заявка имеется, и представитель присутствует.

— Это не тот ящик! — хором проныли мы с комендантом, но Лавр Федотович, тщательно изучив нас в бинокль, обнаружил, по-видимому, в обоих какие-то несообразности и, сославшись на мнение народа, предложил приступить к немедленной утилизации. Возражений не последовало, все ответственные лица кивали, даже спящий полковник.

— Заявку! — воззвал Лавр Федотович.

Моя заявка легла перед ним на зеленое сукно.

— Резолюция!!

На заявку пала резолюция.

— ПЕЧАТЬ!!!

С лязгом распахнулась дверь сейфа, пахнуло затхлой канцелярией, и перед Лавром Федотовичем засверкала медью Большая Круглая Печать. И тогда я понял, что сейчас произойдет. Все во мне умерло.

— Не надо! — просипел я. — Помогите!

Лавр Федотович взял Печать обеими руками и занес над заявкой. Собравшись с силами, я вскочил на ноги.

— Это не тот ящик! — завопил я в полный голос. — Да что же это... Ребята!

— Одну минуту, — сказал Эдик. — Остановитесь, пожалуйста, и выслушайте меня.

Лавр Федотович задержал неумолимое движение и обратил свой мертвенный взгляд на Эдика.

— Посторонний? — осведомился он.

— Никак нет, — тяжело дыша, сказал комендант. — Представитель.

— Тогда можно не удалять, — произнес Лавр Федотович и возобновил было процесс приложения Большой Круглой Печати, но тут оказалось, что возникло затруднение. Что-то мешало Печати приложиться. Лавр Федотович сначала просто давил на нее, потом встал и навалился всем телом, но приложения все-таки не происходило — между бумагой и печатью оставался зазор, и величина его слабо зависела от усилий товарища Вунюкова. Можно было подумать, что зазор этот заполнен каким-то невидимым, но чрезвычайно упругим веществом, препятствующим приложению. Лавр Федотович, видимо, осознал тщету своих стараний, сел, положил руки на подлокотники и строго, хотя и без всякого удивления, посмотрел на Печать. Печать неподвижно висела сантиметрах в двадцати над моей заявкой.

Казнь откладывалась, и я снова начал воспринимать окружающее. Эдик что-то горячо и красиво говорил о разуме, об экономической реформе, о добре, о роли интеллигенции и о государственной мудрости присутствующих. Присутствующие слушали его внимательно, но с неудовольствием, а Хлебовводов при этом ерзал и поглядывал на часы. Роман и Витька застыли в каких-то нелепых и даже жутких позах, — я даже подумал сначала, что их, обоих разом, разбил радикулит: оба они были потные, над Витькой столбом поднимался пар, а более слабый в коленках Роман тихонько постанывал и кряхтел от напряжения. Они держали Печать, милые друзья мои! Спасали меня, дурака и слюнтяя, от беды, которую я сам накачал себе на голову... Надо было что-то делать. Надо было что-то немедленно предпринимать.

— В-седьмых, наконец, — рассудительно говорил Эдик, — любому специалисту, а тем более такой авторитетной организации, должно быть ясно, товарищи, что так называемый Черный Ящик есть не более чем термин теории информации, ничего общего не имеющий ни с определенным цветом, ни с определенной формой какого бы то ни было реального предмета. Менее всего Черным Ящиком можно называть данную пишущую машинку «ремингтон» вкуче с простейшими электрическими приспособлениями, которые можно приобрести в любом электротехническом магазине, и мне кажется странным, что профессор Выбегалло навязывает авторитетной организации изобретение, которое изобретением не является, и решение, которое может лишь подорвать ее авторитет...

— Я протестую, — сказал Фарфуркис. — Во-первых, товарищ представитель нарушил здесь все правила ведения заседания, взял слово, которое ему никто не давал, и вдобавок еще превысил регламент. Это раз. (Я с ужасом увидел, что Печать колыхнулась и упала на несколько сантиметров.) Далее, мы не можем позволить товарищу представителю порочить

наших лучших людей, очернять заслуженного профессора и официального научного консультанта товарища Выбегаллу и обелять имеющий здесь место и уже заслуживший одобрение Тройки черный ящик. Это два. (Печать провалилась еще на несколько сантиметров. У Витьки громко, на всю комнату, хрустнули позвонки.) Наконец, товарищ представитель, надо бы вам знать, что Тройку не интересуют никакие изобретения. Объектом работы Тройки является необъясненное явление, в качестве какового в данном случае и выступает уже рассмотренный и рационализированный черный ящик, он же эвристическая машина.

— Это же до ночи можно просидеть, — обиженно добавил Хлебовводов, — ежели каждому представителю слово давать.

Печать вновь осела. Зазор был теперь не более десяти сантиметров.

— Это не тот черный ящик, — сказал я и проиграл два сантиметра. — Мне не нужен этот ящик! (Еще сантиметр.) Я протестую! На кой мне черт эта старая песочница с «ремингтоном»? Я жаловаться буду!

— Это ваше право, — великодушно сказал Фарфуркис и выиграл еще сантиметр.

Эдик снова заговорил. Он взывал к теньям Ломоносова и Эйнштейна, он цитировал передовицы центральных газет, он воспевал науку и наших мудрых организаторов, но все было вотще. Лавра Федотовича это затруднение наконец утомило, и, прервавши оратора, он произнес только одно слово:

— Неубедительно.

Раздался тяжелый удар. Большая Круглая Печать впилась в мою заявку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы покинули комнату заседаний последними. Мы были подавлены. Роман кряхтел и растирал натруженную поясницу. Витька, черный от злобы и усталости, шипел сквозь зубы: «Слюнтяи, мармеладчики, культуртрегеры, маменькины сыночки... Хватать и тикать, а не турысы разводите!..» Эдик вел меня под локоть. Он тоже был расстроен, но держался спокойно. Вокруг нас, увлекаемый инерцией своего агрегата, вился старикашка Эдельвейс. Он нашептывал мне слова вечной любви, обещал ноги мыть и воду пить и требовал подъемных и суточных. Эдик дал ему три рубля и велел зайти послезавтра. Эдельвейс выпросил еще полтинник за вредность и исчез. Тогда мне стало полегче, и я обнаружил, что Витька и Роман тоже исчезли.

— Где Роман? — спросил я слабым голосом.

— Отправился ухаживать, — ответил Эдик.

— Господи, — сказал я. — За кем?

— За дочкой некоего товарища Голого.

— Понятно, — сказал я. — А Витька?

Эдик пожал плечами.

— Не знаю, — сказал он. — По-моему, Витя намерен сделать большую глупость.

— Он хочет их убить? — спросил я с восхищением.

Эдик разуверил меня, и мы вышли на улицу. Федя уже ждал нас. Он поднялся со скамеечки, и мы втроем, рука об руку, пошли вдоль улицы Первого Мая.

— Устали? — спросил Федя.

— Ужасно, — сказал Эдик. — Я и говорить устал, и слушать устал, и вдобавок еще, кажется, сильно поглупел. Вы не замечаете, Федя, как я поглупел?

— Нет еще, — сказал Федя застенчиво. — Это обычно становится заметно через час-другой.

Я сказал:

— Хочу есть. Хочу забыться. Пойдемте все в кафе и забудемся. Закатим пир. Вина выпьем. Мороженого...

Эдик был «за», Федя тоже не возражал, хотя никогда не пил вина и не понимал

мороженого. Народу на улицах было много, но никто не слонялся по тротуару, как это обычно бывает в городах летними вечерами. Китежградцы, напротив, тихо, культурно сидели на своих крыльчках и молча трещали семечками. Семечки были арбузные, подсолнечные, тыквенные и дынные, а крыльчки были резные с узорами, резные с фигурами, резные с балясинами и просто из гладких досок — знаменитые китежградские крыльчки, среди которых попадались и музейные экземпляры многовековой давности, взятые под охрану государством и обезображенные тяжелыми чугунными досками, об этом свидетельствующими. На задах крякала гармонь — кто-то, что называется, пробовал лады.

Эдик с интересом расспрашивал Федю о жизни в горах, Федя, с самого начала проникшийся к вежливому Эдику большой симпатией, отвечал охотно.

— Хуже всего, — рассказывал Федя, — это альпинисты с гитарами. Вы не можете себе представить, как это страшно, Эдик, когда в ваших родных, тихих горах, где шумят одни лишь обвалы, да и то в известное заранее время, вдруг над самым ухом кто-то зазвенит, застучит и примется рычать про то, как «нипупок» вскарабкался по «жандарму» и «запил по гребню» и как потом «ланцепупа пробило на землю»... Это бедствие, Эдик. У нас некоторые от этого болеют, а самые слабые даже умирают...

— У меня дома клавесин есть, — продолжал он мечтательно. — Стоит у меня там на вершине клавесин, на леднике. Я люблю играть на нем в лунные ночи, когда тихо и совершенно нет ветра. Тогда меня слышат собаки в долине и начинают мне подвывать. Право, Эдик, у меня слезы навертываются на глаза, так это получается хорошо и печально. Луна, звуки в просторе несутся, и далеко-далеко воют собаки...

— А как к этому относятся ваши товарищи? — спросил Эдик.

— Их в это время никого нет. Остается обычно один мальчик, но он мне не мешает. Он хроменький... Впрочем, это вам не интересно.

— Наоборот, очень интересно.

— Нет-нет... Но вы, наверное, хотели бы узнать, откуда у меня клавесин. Представьте себе: его занесли альпинисты. Они ставили какой-то рекорд и обязались втащить на нашу гору клавесин. У нас на вершине много неожиданных предметов. Задумает, например, альпинист подняться к нам на мотоцикле — и вот у нас мотоцикл, хотя и поврежденный, конечно... Гитары попадают, велосипеды, бюсты различные, зенитные пушки... Один рекордсмен захотел подняться на тракторе, но трактора не раздобыл, а раздобыл он асфальтовый каток. Если бы вы видели, как он мучился с этим катком! Как трудился! Но ничего у него не вышло, не дотянул до снегов. Метров пятьдесят всего не дотянул, а то бы у нас был асфальтовый каток...

Мы подошли к дверям кафе, и Федя замолчал. На ярко освещенных ступенях роскошного каменного крыльца в непосредственной близости от турникета отирался Клоп Говорун. Он жаждал войти, но швейцар его не впускал. Говорун был в бешенстве и, как всегда, находясь в возбужденном состоянии, испускал сильный, неприятный для непьющего Федора запах дорогого коньяка «курвуазье». Я наскоро познакомил его с Эдиком, посадил в спичечный коробок и велел сидеть тихо, и он сидел тихо, но, как только мы прошли в зал и отыскивали свободный столик, он сразу же развалился на стуле и принялся стучать по столу, требуя официанта. Сам он, естественно, в кафе ничего не ел и не пил, но жаждал справедливости и полного соответствия между работой бригады официантов и тем высоким званием, за которое эта бригада борется. Кроме того, он явно выпендривался перед Эдиком — он уже знал, что Эдик прибыл в Китежград лично за ним, Говоруном, в качестве его, Говоруна, работодателя.

Мы с Эдиком заказали себе яичницу по-домашнему, салат из раков и сухое вино. Федю в кафе хорошо знали и принесли ему сырого тертого картофеля, морковную ботву и капустные кочерыжки, а перед Говоруном поставили фаршированные помидоры, которые он заказал из принципа.

Съевши салат, я ощутил, что устал, как последняя собака, что язык у меня не поворачивается и что нет у меня никаких желаний. Кроме того, я поминутно вздрагивал, ибо

в шуме публики мне то и дело слышались визгливые вскрики: «Ноги мыть и воду пить!..» и «У ей внутри!..» Зато прекрасно выспавшийся за день Говорун чувствовал себя бодрым, как никогда, и с наслаждением демонстрировал Эдику свой философический склад ума, независимость суждений и склонность к обобщениям.

— До чего бессмысленные и неприятные существа! — говорил он, озирая зал с видом превосходства. — Воистину только такие грузные жвачные животные способны под воздействием комплекса неполноценности выдумать миф о том, что они — цари природы. Спрашивается: откуда явился этот миф? Например, мы, насекомые, считаем себя царями природы по справедливости. Мы многочисленны, вездесущи, мы обильно размножаемся, а многие из нас не тратят драгоценного времени на бессмысленные заботы о потомстве. Мы обладаем органами чувств, о которых вы, хордовые, даже понятия не имеете. Мы умеем погружаться в анабиоз на целые столетия без всякого вреда для себя. Наиболее интеллигентные представители нашего класса прославлены как крупнейшие математики, архитекторы, социологи. Мы открыли идеальное устройство общества, мы овладели гигантскими территориями, мы проникаем всюду, куда захотим. Поставим вопросом следующим образом: что вы, люди, самые, между прочим, высокоразвитые из млекопитающих, можете такого, чего бы хотели уметь и не умели бы мы? Вы много хвастаетесь, что умеете изготавливать орудия труда и пользоваться ими. Простите, но это смешно. Вы уподобляетесь калеке, который хвастает своими костылями. Вы строите себе жилища, мучительно, с трудом, привлекая для этого такие противоестественные силы, как огонь и пар, строите тысячи лет, и все время по-разному, и все никак не можете найти удобной и рациональной формы жилища. А жалкие муравьи, которых я искренне презираю за грубость и приверженность к культу физической силы, решили эту простенькую проблему сто миллионов лет тому назад, причем решили раз и навсегда. Вы хвастаете, что все время развиваетесь и что вашему развитию нет предела. Нам остается только хохотать. Вы ищете то, что давным-давно найдено, запатентовано и используется с незапамятных времен, а именно: разумное устройство общества и смысл существования. Вы называете нас, цимекс лектулария, паразитами и толкуете друг другу, что это дурно. Но будем последовательны! Что есть паразит? Это слово происходит от греческого «параситос», что означает «нахлебник», «блюдолиз». Даже ваша наука называет паразитирующим тот вид, который существует на другом виде и за счет другого вида. Что ж, я с гордостью утверждаю: да, я паразит! Я питаюсь жизненными соками существ иного вида, так называемых людей. Но как обстоят дела с этими так называемыми людьми? Разве могли бы они заниматься своей сомнительной деятельностью или даже просто существовать, если бы по несколько раз в день не вводили бы в свой организм живые соки не одного, а множества иных видов как животного, так и растительного царства? Глупцы и лицемеры бросают нам обвинение, что мы-де подкрадываемся к своей так называемой жертве, пользуясь темнотой и ее, жертвы, сонным и, следовательно, беспомощным состоянием. На эти ханжеские бредни я отвечаю просто: может быть, МЫ убиваем свою жертву, прежде чем ввести ее соки в свой организм? Может быть, МЫ изобретаем все более и более утонченные способы такого убийства? Может быть, МЫ разработали и практикуем изуверские способы уродования своих жертв путем так называемого искусственного отбора для удобства их пожирания? Нет, не мы! Мы, даже самые дикие и нецивилизованные из нас, лишь позволяем себе урвать крошечную толику от щедрот, коими наделила вас природа. Однако вы идете еще дальше. Вас можно назвать СВЕРХПАЗИТАМИ, ибо никакой другой вид не додумался еще паразитировать на самом себе. Ваше начальство паразитирует на подчиненных, ваши преступники паразитируют на так называемых порядочных людях, ваши дураки паразитируют на ваших мудрецах. И это — цари природы!

Эдик слушал профессионально-внимательно, а Панург вдруг громко расхохотался и воскликнул, гремя бубенцами:

— Вот это отповедь, черт меня подери со всеми потрохами, включая аппендикс и двенадцатиперстную кишку! Осмелюсь добавить только, что Ода Нобунага был знаменитым

войкой и тираном жестокости беспредельной, уродлив, как мартышка, и не терпел лжи. Всех, кто поступал не в соответствии, он рубил в капусту на месте сам или отдавал на шинкование некоему Тоетоми Хидээси, который тоже хорошо понимал в этом деле. «Правда ли, говорят, что я похож на обезьяну?» — спросил однажды Ода Нобунага своего приближенного, до которого давно добирался. Блюдолиз помертвел и опачкался, и Ода Нобунага уже взялся за рукоятку меча, но тут обреченный блюдолиз, движимый отчаянием, нашелся. «Да что вы, ваше превосходительство! — вскричал он. — Как можно! Наоборот, это обезьяна имеет несравненную честь походить на вас!» Что и привело свирепого диктатора в самое превосходное состояние духа.

— Я не понял этого намека, — с достоинством объявил Говорун, однако по лицу его скользнула тень многовекового застарелого ужаса перед зловецим призраком чудовищного указательного пальца, неумолимо надвигающегося с непреложностью рока.

— Я, конечно, слабый диалектик, — произнес Федя, покусывая кочерыжку великолепными зубами, — но меня воспитали в представлении о том, что человеческий разум — это высшее творение природы. Мы в горах привыкли бояться человеческой мудрости и преклоняться перед нею, и теперь, когда я некоторым образом получил образование, я не устаю восхищаться той смелостью и тем хитроумием, с которым человек уже создал и продолжает создавать так называемую вторую природу. Человеческий разум — это... это... — Он помотал головой и замолк.

— Вторая природа! — ядовито сказал Клоп. — Третья стихия, четвертое царство, пятое состояние, шестое чудо света... Один крупный человеческий деятель мог бы спросить: зачем вам две природы? Загадили одну и теперь пытаетесь заменить ее другой... Я же вам уже сказал, Федор: вторая природа — это костыли калеки. Что же касается разума... Не вам бы говорить, не мне бы слушать. Сто веков эти бурдюки с питательной смесью разглагольствуют о разуме и до сих пор не могут договориться, о чем идет речь. В одном только они согласны все: кроме них, разумом никто не обладает. Если мысленным взором окинуть всю историю этой болтовни, легко увидеть, что так называемая теория мышления сводится к выдумыванию более или менее сложных терминов для обозначения явлений, которых человек не понимает. Так появляются РАЗДРАЖИМОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ, ИНСТИНКТЫ, РЕФЛЕКСЫ УСЛОВНЫЕ, РЕФЛЕКСЫ БЕЗУСЛОВНЫЕ, ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА... Теперь они обнаружили еще ТРЕТЬЮ, ту самую, между прочим, которой мы, клопы, пользуемся с незапамятных времен. И ведь что замечательно! Если существо маленькое, если его легко отравить какой-нибудь химической гадостью или просто раздавить пальцем, то с ним не церемонятся. У такого существа, конечно же, инстинкт, примитивная раздражимость, низшая форма нервной деятельности... Типичное мировоззрение самовлюбленных имбецилов. Но ведь они же разумные, им же нужно все обосновать, чтобы насекомое можно было раздавить без зазрения совести! И посмотрите, Федор, как они это обосновывают. Скажем, земляная оса отложила в норку яички и таскает для будущего потомства пищу. Что делают эти бандиты? Они варварски крадут отложенные яйца, а потом, исполненные идиотского удовлетворения, наблюдают, как несчастная мать закупоривает цементом пустую норку. Вот, мол, оса — дура, не ведает, что творит, а потому у нее — инстинкты, слепые инстинкты, вы понимаете? — разума у нее нет, и в случае нужды допускается ее — к ногтю. Ощущаете, какая гнусная подтасовка терминов? Априорно предполагается, что целью жизни осы является размножение и охрана потомства, а раз даже с этой, главной своей задачей она не способна толково управиться, то что же тогда с нее взять? У них, у людей, — космос-мосмос, фотосинтез-мотосинтез, а у жалкой осы — сплошное размножение, да и то на уровне примитивного инстинкта. Этим млекопитающим и в голову не приходит, что у осы богатейший духовный мир, что за свою недолгую жизнь она должна преуспеть — ей хочется преуспеть! — и в науках, и в искусствах, этим теплокровным и неведомых, что у нее просто ни времени, ни желания нет оглядываться на своих детенышей, тем более что это и не детеныши даже, а бессмысленные яички... Ну, конечно, у ос существуют правила, нормы

поведения, мораль. Поскольку осы от природы весьма легкомысленны в делах продления рода, закон, естественно, предусматривает известное наказание за неполное выполнение родительских обязанностей. Каждая порядочная оса должна выполнить определенную последовательность действий: выкопать норку, отложить яйца, натаскать парализованных гусениц и закупорить норку. За этим следят, существует негласный контроль, оса всегда учитывает возможность присутствия за ближайшим камешком инспектора-соглядатая. Конечно же, оса видит, что яйца у нее украли или что исчезли запасы питания! Но она не может отложить яйца вторично, и она совсем не намерена тратить время на возобновление пищевых запасов. Полностью сознавая всю нелепость своих действий, она делает вид, что ничего не заметила, и доводит программу до конца, потому что менее всего ей улыбается таскаться по десяти инстанциям Комитета охраны вида... Представьте себе, Федор, шоссе, прекрасную гладкую магистраль от горизонта до горизонта. Некий экспериментатор ставит поперек дороги рогатку с табличкой «Объезд». Шофер догадывается, что это чьи-то глупые шутки, но, следуя правилам и нормам поведения порядочного автомобилиста, он сворачивает на обочину, трясется по кочкам, захлебывается в грязи и в пыли, тратит массу времени и нервов, чтобы снова выехать на то же шоссе двумястами метрами дальше. Почему? Да все по той же причине: он законопослушен, он не хочет таскаться по инстанциям ОРУДа, тем более что у него, как и у всякой осы, есть основания предполагать, что все это — ловушка и что вон в тех кустах сидит инспектор ГАИ с мотоциклом. А теперь представим себе, что неведомый экспериментатор ставил этот опыт, дабы установить уровень человеческого интеллекта, и что этот экспериментатор — такой же самовлюбленный осел, как разрушитель осинового гнезда... Ха-ха-ха! К каким бы выводам он пришел!.. — Говорун в восторге застучал по столу всеми лапами.

— Нет, — сказал Федя. — Как-то у вас все упрощенно получается, Говорун. Конечно, когда человек ведет автомобиль, он не может блеснуть интеллектом...

— Точно так же, — перебил хитроумный Клоп, — как не блещет интеллектом оса, откладывающая яйца. Тут, знаете ли, не до интеллекта.

— Подождите, Говорун, — сказал Федя. — Вы все время меня сбиваете. Я хочу сказать... Ну вот, я и забыл, что хотел сказать... Да! Чтобы насладиться величием человеческого разума, надо окинуть взором все здание этого разума, все достижения наук, все достижения литературы и искусства. Вот вы пренебрежительно отозвались о космосе, а ведь спутники, ракеты — это великий шаг, это восхищает, и согласитесь, что ни одно членистоногое не способно к таким свершениям.

Клоп презрительно повел усами.

— Я мог бы возразить, что космос членистоногим ни к чему, — произнес он. — Однако и людям он тоже ни к чему, и поэтому об этом говорить не будем. Вы не понимаете простых вещей, Федор. У каждого вида существует своя исторически сложившаяся, передающаяся из поколения в поколение мечта. Осуществление такой мечты и называют обычно великим свершением. У людей было две исконные мечты: мечта летать вообще, проистекшая из зависти к насекомым, и мечта слетать к Солнцу, проистекшая из невежества, ибо они полагали, что до Солнца рукой подать. Но нельзя ожидать, что у разных видов, а тем более классов и типов живых существ Великая мечта должна быть одна и та же. Смешно предполагать, чтобы у мух из поколения в поколение передавалась мечта о свободном полете, у спрутов — мечта о морских глубинах, а у нас — цимекс лектулария — о Солнце, которого мы терпеть не можем. Каждый мечтает о том, что недостижимо, но обещает удовольствие. Потомственная мечта спрутов, как известно, — свободное путешествие по суше, и спруты в своих мокрых пучинах много и полезно думают на этот счет. Извечной и зловещей мечтой вирусов является абсолютное мировое господство, и, как ни ужасны методы, коими они в настоящее время пользуются, им нельзя отказать в настойчивости, изобретательности и способности к самопожертвованию во имя великой цели. А грандиозная мечта паукообразных? Много миллионов лет назад они опрометчиво выбрались из моря на сушу и с тех пор мучительно мечтают снова вернуться в родную стихию. Вы бы послушали

их песни и баллады о море! Сердце разрывается на части от жалости и сочувствия. В сравнении с этими балладами героический миф о Дедале и Икаре — просто забавная побасенка. И что же? Кое-чего они достигли, причем весьма хитроумным путем, ибо членистоногим вообще свойственны хитроумные решения. Они добиваются своего, создавая новые виды. Сначала они создали водобегающих пауков, потом пауков-водолазов, а теперь во весь ход идут работы над созданием вододышащего паука... Я уже не говорю о нас, клопах. Мы своего достигли давно, когда появились на свет эти бурдюки с питательной смесью... Вы понимаете меня, Федор? Каждому племени своя мечта. Не надо хвастаться достижениями перед своими соседями по планете. Вы рискуете попасть в смешное положение. Вас сочтут глупцами те, кому ваши мечты чужды, и вас сочтут жалкими болтунами те, кто свою мечту осуществил уже давно.

— Я не могу вам ответить, Говорун, — сказал Федя, — но должен признаться, что мне неприятно вас слушать. Во-первых, я не люблю, когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи, а во-вторых, я все-таки тоже человек.

— Вы — снежный человек. Вы — недостающее звено. С вас взятки гладки. Вы даже, если хотите знать, несъедобны. А вот почему мне не возражают гомо сапиенсы, так сказать? Почему они не вступаются за честь своего вида, своего класса, своего типа? Объясняю: потому что им нечего возразить.

Внимательный Эдик пропустил этот вызов мимо ушей. Мне было что возразить, но я промолчал, потому что видел, что Федя расстроен и хочет говорить.

— Нет уж, позвольте мне, — сказал он. — Да, я снежный человек. Да, нас принято оскорблять, нас оскорбляют даже люди, ближайšie наши родственники, наша надежда, символ нашей веры в будущее. Нет-нет, позвольте, Эдик, я скажу все, что думаю... Нас оскорбляют наиболее невежественные и отсталые слои человеческого рода, давая нам гнусную кличку «йети», которая, как известно, созвучна со сви́фтовским «йеху», и кличку «голуб-яван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас «недостающим звеном», «человекообезьяной» и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе — и своей собственной. Вы, Говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение — природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому, что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею — он переделывает природу, он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти...

— Ну да! — сказал Клоп. — А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лужгающих семечки обывателей... Внимание! — заорал он вдруг. — Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобуева-Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны! Акт первый: «Обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй: «Человекообезьяна». Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что бы забить. Акт третий: «Обезьяночеловек». Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый: «Человека создал труд». Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый: «Апофеоз». Федор садится за пианино и наигрывает «Турецкий марш»... Начало лекции в

шесть часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы!

Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся.

— Ну конечно, Говорун, — сказал он растроганно. — Я же знал, что существенных разногласий между нами нет. Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии, хотя я понимаю: вы просто хотите сделать мне приятное.

Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился.

— Я что-нибудь не так сказал? — спросил он.

— Вы молодец, — сказал я. — Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия...

— Одно удовольствие вас слушать! — вскричал Панург. — Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны! Клавдии-Публии-Аврелии! Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтеня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары заметил однажды у себя на пиру некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сообщаемое имя. Наконец слуга, утомившись повторять одно и то же и желая утвердить в памяти господина имя Цестия, сказал: «Это Цестий, который, по слухам, считает свое красноречие значительно превосходящим красноречие вашего батюшки». И что же? Цицерон-младший взбесился и велел тут же на месте высечь Цестия, очень этому удивившегося...

— Должен вам сказать, Говорун, я слушаю вас с интересом, — сказал Эдик. — Я, конечно, вовсе не намерен вам возражать, потому что, как я рассчитываю, у нас впереди еще много диспутов по более серьезным вопросам. Я только хотел бы констатировать, что, к сожалению, в ваших рассуждениях слишком много человеческого и слишком мало оригинального, присущего лишь психологии цимекс лектулария.

— Хорошо, хорошо! — с раздражением вскричал Клоп. — Все это прекрасно. Но, может быть, хоть один представитель гомо сапиенс снизойдет до прямого ответа на те соображения, которые мне позволено было здесь высказать? Или, повторяю, ему нечего возразить? Или, может быть, человек разумный имеет к разуму не большее отношение, чем очковая змея к широко распространенному оптическому устройству? Или у него нет аргументов, доступных пониманию существа, которое обладает лишь примитивными инстинктами?

У меня был аргумент, доступный пониманию, и я его с удовольствием предъявил. Я продемонстрировал Говоруну свой указательный палец, а затем сделал движение, словно бы стирая со стола упавшую каплю.

— Очень остроумно, — сказал Клоп, бледнея. — Вот уж воистину ответ на уровне высшего разума.

Федя робко попросил, чтобы ему объяснили смысл этой пантомимы, однако Говорун объявил, что все это вздор.

— Мне здесь надоело, — преувеличенно громко сообщил он, барски озираясь. — Пойдемте отсюда.

Я расплатился, и мы вышли на улицу, где остановились, решая, что делать дальше. Федя предложил навестить Спиридона, но Говорун запротестовал. Беседовать с теплокровными — это совсем не сахар, объявил он, но уж идти после этого пререкаться с головоногим моллюском — нет, от этого увольте, он уж лучше пойдет в кино. Нам стало его жалко — так он был потрясен и шокирован моим жестом, может быть, действительно несколько бестактным, — и мы направились было в кино, но тут из-за пивного ларька на нас вынесло старикашку Эдельвейса. В одной руке он сжимал пивную кружку, а другой цеплялся за свой агрегат. Заплетающимся языком он выразил свою преданность науке и лично мне и потребовал сметных, высокогорных, а также покупательных на приобретение

каких-то разъемов. Я дал ему рубль, и он вновь устремился за ларек.

Мы пошли в кино. Говорун все никак не мог успокоиться. Он бахвалился, задирали прохожих, сверкал афоризмами и парадоксами, но видно было, что ему крайне не по себе. Чтобы вернуть Клопу душевное равновесие, Эдик рассказал ему о том, какой гигантский вклад он, Клоп Говорун, может совершить в теорию Линейного Счастья, и прозрачно намекнул на мировую славу и на неизбежность длительных командировок за границу, в том числе и в экзотические страны. Душевное равновесие было восстановлено полностью. Говорун явно приободрился, поселился и, как только в кинозале погас свет, тут же полез по рядам кусаться, так что мы с Эдиком не получили от фильма никакого удовольствия: Эдик боялся, что Говоруна тихо раздавят по привычке, я же ждал безобразного скандала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Витька этой ночью в гостинице не ночевал. Роман же пришел, по-видимому, очень поздно, и утром нам с Эдиком пришлось изгонять его из постели холодной водой. Мы наскоро позавтракали кефиром и огурцами. Я очень спешил, мне не терпелось увидеться с комендантом и прояснить свое теперешнее положение. Комендант мне благоволил: время от времени я помогал ему разбираться в путаных заключениях профессора Выбегаллы и вообще ему сочувствовал. Да и как было не сочувствовать? Жил-был человек, ничего такого не делал, никому особенно не мешал, работал комендантом общежития, достиг успехов, и вдруг вызвал его товарищ Голый, поругал за приверженность к религии и бросил на повышение — комендантом Колонии Необъясненных Явлений. Будь он помоложе да поначитанней, он, возможно, и развернулся бы там, но товарищ Зубо был не таков. Был он служака, и был он к тому же человеком повышенной брезгливости. «Погибаю я там, — жаловался он мне иногда. — Погибаю я там, Александр Иванович, со змеями этими бородатыми, вонючими, с этими каракатицами, с пришельцами. Appetit потерял я совсем, худею, жена брюки ушивает, и никакой же перспективы... Сегодня вот еще один паразит прилетел, лепечет чего-то не по-русски, каши не жрет, мяса не жрет, а употребляет он, оказывается, зубную пасту... Не могу я так больше. Жаловаться я хочу, не по закону это, до самого товарища Голого дойду...» Очень я ему сочувствовал.

Плачевное положение коменданта усугублялось историей с разумным дельфином Айзеком. Сам дельфин давно уже помер по невыясненным причинам, но дело его жило и причиняло неприятности. Жило оно вот почему. Во-первых, Айзек скончался, недоиспользовав отпущенные на него две тонны трески. Эта когда-то свежая треска висела на шее у несчастного коменданта, как жернов, и не было никакой возможности от нее избавиться. Комендант ел ее сам и всей семьей, приглашал гостей, кормил половину китежградских собак, несколько раз травился рыбным ядом, отравил насмерть свою лучшую свинью, но трески словно бы и не убавлялось.

Во-вторых, дело Айзека не прекращалось потому, что, пока акт о смерти ходил по инстанциям, из покойника набили чучело и передали китежградской школе в качестве наглядного пособия, а между тем обстоятельства смерти вызвали в инстанциях некие подозрения, и акт вернулся с резолюцией произвести посмертное вскрытие на предмет уточнения упомянутых обстоятельств. С тех пор еженедельно комендант получал запрос: «Почему до сих пор не высланы результаты вскрытия?» — на что однообразно отвечал, что принимаются-де все меры к быстрейшему ответу на ваш исходящий такой-то. Треску невозможно было списать, потому что не списывали дельфина; дельфина же не списывали, потому что не состоялось вскрытие, а также потому, что Хлебовводов говорил о покойном Айзеке: «Мало ли что он помер? Мне плевать, что он помер. Я обещал его на чистую воду вывести, и я его выведу». Причина же хлебовводовского упорства состояла в том, что во время его первой встречи с Айзеком дельфин на слова Хлебовводова: «Чего тут с ним возиться — обыкновенная горячая рыба, я про такую читал» — во всеуслышание на четырех европейских и двух азиатских языках назвал его говорящим идиотом.

Вот и сегодня утром комендант сидел за своим столом, погрузившись в безнадежное изучение распухшего от запросов дела Айзека.

— Пропадаю, — сообщил он, пожимая нам руки. — Пропадаю ни за грош. Если и сегодня не разрешат треску списать, — удавлюсь... А что же товарища Корнеева не видно? Дело ведь его нынче обсуждается, заявка его...

— Приболел, — соврал я.

— Запаздывает, — одновременно со мной соврал Роман.

— Гм, — соврал Эдик и покраснел.

— Да придет он, — сказал я. — Никуда не денется. Вы мне лучше скажите, товарищ Зубо, как мне теперь жить дальше?

Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Старикашка Эдельвейс теперь, конечно, мой до самой смерти, от этого никуда не денешься. Но заявка моя не пропала. Как я Черный Ящик просил, так я Черный Ящик в конце концов и получу, надо только написать новую заявку, пометив ее задним числом. Других же заявок на дело девяносто седьмое нет и не предвидится, хотя, конечно, все в руках божьих: очень даже просто товарищ Вунюков или, скажем, товарищ Хлебовводов могут этот Ящик в какой-нибудь клуб передать или в столовую, а то и в распыл пустить...

Тут часы ударили девять, появилась Тройка, и мы заняли свои места. Несколько успокоенный, я пристроился за спиной Романа и написал новую заявку. Потом Эдик тихонько организовал мне на заявке штемпельную печать, а Роман — круглую. Подпись Януса Полуэктовича я организовал сам. Когда с заявкой было покончено, я успокоился совершенно и принялся слушать.

Хлебовводов размахивал газетной вырезкой:

— ...Вот у меня насчет этого Айзека материал. Центральной прессой получен сигнал, что дельфин, оказывается, вовсе и не рыба. Этого я не понимаю. Живет в воде, хвост у него — и не рыба. А кто же это по-вашему — птица? Или, скажем, эта... петух какой-нибудь?

— Есть предложения? — благодушно осведомился Лавр Федотович.

— Есть, — сказал Хлебовводов. — Отложить до полного выяснения. Темный был покойничек человек, земля ему пухом. Много за ним еще, кроме трески этой, ой много, нюхом чую!

— Но ведь помер же он, — в сотый раз безнадежно проныл комендант. — Может, все-таки спишем его, а? Пускай за школой числится...

— Товарищ Зубо, — менторским тоном сказал Фарфуркис. — Вы напрасно испытываете наше терпение. Оно у нас безгранично. Мы вам уже объясняли, что Гомер, Шекспир и другие деятели науки тоже умерли, но по-прежнему продолжают оставаться загадкой для исследователя. Смерть не может считаться препятствием для исследовательской работы, а тем более для административно-исследовательской. Тройке не важно, жив объект или нет. Тройке важно установить, в какой мере он является или являлся необъясненным явлением.

— Ну хорошо, это дельфин, — сказал комендант. — А насчет трески мне как?

— И опять же мы готовы в сотый раз объяснить вам, что поскольку данный продукт документирован в качестве пищи для дела номер шестнадцать, то он и может быть списан либо по употреблении его этим делом, либо при списании этого дела.

— Ревизия же на носу! — рыдающим голосом проговорил комендант. — Найдут же у меня две тонны гнилой рыбы излишков...

— Да, — сочувственно сказал Фарфуркис. — Вам необходимо что-то предпринять.

— Может быть, мне другого дельфина купить? На свои, на заработанные... Кум говорил, в Москве такой магазин есть...

— Это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но вряд ли законно скармливать продукт, выписанный по делу номер шестнадцать, какому-то иному дельфину, находящемуся вне компетенции Тройки.

— Куда же мне рыбу-то девать?

— Скормить ее делу номер шестнадцать, — ответил Фарфуркис.

Я поглядел на Эдика. Эдик был безмятежен. По-видимому, у него уже выработался иммунитет. Впрочем, дело было пустяковое.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Выражая общее мнение, предлагаю треску отложить до полного выяснения. Переходите к следующему делу, товарищ Зубо.

Комендант, сморкаясь и утирая слезы, склонился над папками. Следующим оказалось дело спрута Спиридона, и сонный Роман встрепнулся. Где-то в необозримом будущем Тройка должна была передать Спиридона ему, если не перебежит, конечно, дорогу какая-нибудь столовая или какое-нибудь ателье мод. Ничего нового сегодня услышать он не ожидал, но тем не менее стремился быть в курсе. Спиридоново дело тянулось уже больше года и рассматривалось еженедельно. Высокомерное древнее головоногое не желало являться на заседания Тройки и требовало, чтобы Тройка сама явилась к нему. Амбиция обеих сторон мешала разрешению конфликта, ибо речь шла о том, кто кого переломит.

— Опять не явился, старый склочник, — с удовлетворением сказал Хлебовводов.

— Никак нет, — подтвердил комендант уныло.

— Нет, надо же, какая скотина, — продолжал Хлебовводов. — Семь ног у мерзавца, и не может явиться.

— Восемь, — поправил Фарфуркис.

— Почему это восемь? — оскорбился Хлебовводов. — Осьминог ведь, то есть о семи ногах. Что ты мне, в самом деле...

— У осьминога восемь ног, — мягко сказал Фарфуркис. — Он, собственно, осьминог, но «в» у него редуцировалось.

— Да бросьте вы, — сказал Хлебовводов. — Что ты, понимаешь, мне вкручиваете? Редуцировалось, медуцировалось... Не знаете — так и скажите! Вот пусть научный консультант объяснит... Товарищ научный консультант! Сколько у него ног? Семь или восемь?

Выбегалло не знал. Он осклабился, потянул себя за бороду и произнес:

— Эта... Ног сколько?.. Значить, се шарман илья кель кешоз де си мелодё...²

— Чего? — сказал Хлебовводов.

— Ту кампрандр се ту пардоне,³ — пояснил Выбегалло, чувствуя себя на верном пути.

— Ага... — нерешительно сказал Хлебовводов. — Это мы, конечно, понимаем... латинский там, немецкий... Но вот хотелось бы уточнить, сколько все-таки у данного осьминога ног? Семь их все-таки или восемь?

— Десять, — сказал Роман.

Хлебовводов посмотрел на него ошарашенно.

— Шуточки шутите? — спросил он. — А между прочим, вы, товарищ представитель, на работе. Это вы дома своей жене шуточки шутите.

— Мне, товарищ Хлебовводов, шутить с вами не о чем, — холодно сказал Роман. — Вы задали консультанту вопрос, и, поскольку консультант находится в затруднении, я отвечаю вместо него. У спрута Спиридона десять ног.

— Иль фо фер де рестриксион!⁴ — важно сказал Выбегалло.

— Какие там рестриксионы, — сказал Роман грубо. — Се редикюль, ля камерад⁵ профессор. Десять ног, а точнее говоря, не ног, а рук, поскольку спруты на щупальцах не

² Это прелестно, в этом есть нечто мелодичное...

³ Все понять — значит все простить.

⁴ Бывают исключения!

⁵ Это смешно, товарищ.

ходят, а шупальцами хватают, как руками.

— Но ноги-то, ноги у него есть? — спросил Хлебовводов. — Ну хоть одна!

— Ничего не могу добавить, — сказал Роман.

— Одну минуточку, — сказал Фарфуркис. — Почему же в таком случае он называется осьминог?

— А Спиридон не осьминог. Спиридон — кальмар, мегатойтис.

— Ага, — сказал Фарфуркис. — Благодарю вас.

— А нам все равно, — злобно сказал Хлебовводов. — Руки там у него или что. В крайнем случае мог бы и на руках дойти. Не в кино же, на заседание... И вообще, какое нам дело? Мы его вызываем, он не приходит, а у нас не горит. У нас другой работы много. Кто там следующий?

— От Спиридона имеется заявление, — доложил комендант.

— Отказать, отказать! — сказал Хлебовводов.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, у вас есть вопрос?

— Нет, — сказал Хлебовводов пристыженно. — Виноват.

— Народ желает знать все детали, — продолжал Лавр Федотович, глядя на Хлебовводова в бинокль. — Между тем отдельные члены Тройки, видимо, пытаются подменить общее мнение Тройки своим частным мнением. Однако народ говорит этим отдельным товарищам: не выйдет, товарищи!

Воцарилось почтительное молчание. Было слышно, как Хлебовводов терзается угрызениями совести. Лавр Федотович опустил бинокль и приказал:

— Докладывайте, товарищ Зубо.

— Меморандум номер двенадцатый, — прочитал комендант. — Настоящим Полномочный посол Генерального содружества Гигантских древних головоногих свидетельствует свое искреннее уважение Председателю Тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений (сенсаций) Его превосходительству товарищу Вунюкову Лавру Федотовичу и имеет поставить его в известность о нижеследующем:

§1. Настоящий меморандум является двенадцатым в ряду документов идентичного содержания, отправленных Полномочным послом в адрес Его превосходительства.

§2. Полномочный посол до сего дня не получил ни уведомления о вручении, ни подтверждения о получении, ни адекватного ответа хотя бы на один из вышеупомянутых документов.

§3. Полномочный посол вынужден с сожалением констатировать установление нежелательной традиции, которая вряд ли может в дальнейшем способствовать нормальным отношениям между Высокими договаривающимися сторонами.

Допуская в связи с вышеизложенным, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает необходимым вновь информировать Его превосходительство о своих намерениях, вытекающих из его, Полномочного посла, обязанностей перед Генеральным содружеством, которое он имеет честь представлять:

§1. Полномочный посол намерен встретиться с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны в целях обсуждения процедуры вручения Министру Иностранных Дел своих верительных грамот.

§2. После упомянутого обсуждения Полномочный посол намерен вручить Министру Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны свои верительные грамоты.

В интересах Высоких договаривающихся сторон и допуская, что предшествовавшие одиннадцать документов по тем или иным причинам не попали в сферу внимания Его превосходительства, Полномочный посол считает себя обязанным повторить свои предложения Его превосходительству:

§1. Полномочный посол желал бы встретиться с Его превосходительством для обсуждения средств и порядка доставки его, Полномочного посла, к месту встречи с представителями Министерства Иностранных Дел Высокой договаривающейся стороны.

§2. Время встречи с Его превосходительством Полномочный посол оставляет на усмотрение Его превосходительства.

§3. Что же касается места встречи, то, принимая во внимание физические и физиологические особенности организма Полномочного посла, было бы желательно провести встречу в нынешней резиденции Полномочного посла.

С совершеннейшим почтением остаюсь в ожидании решения Вашего превосходительства покорнейшим Вашим слугой,

СПИРИДОН,

Полномочный посол Генерального содружества

Гигантских древних головоногих.

— Все, — сказал комендант.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут предложения по существу дела?

— У меня предложение одно, — заявил Хлебовводов. — Лишить его, гада, пищевого довольствия. Пусть голодом посидит, а то сразу ведь видно, что издевается. Сколько раз было ему говорено, явись, мол, на заседание, а он одни только писульки пишет. Вот я и предлагаю: пусть-ка поголодает, образумится...

В этот момент Эдик, наскоро посоветовавшись с Романом, решил в осуществление своей утопической программы морального преобразования членов Тройки попытаться извлечь на поверхность из глубины хлебовводовского сознания все, что там застряло разумного-доброе-вечного, но исторг только смутное видение селедочки под горчичным соусом и профессионально неразборчивый возглас: «Не держите двери, следующая станция „Кропоткинская“!»

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Так нельзя. Что значит «не держите двери»? Двери для переговоров должны быть раскрыты. А вдруг он и в самом деле посол? Надо соблюдать дипломатическую осторожность. Другое дело, конечно, что он ведет себя несовместимо со своим званием и требует от Тройки действий, подрывающих наш престиж. Поставить его на место, конечно, необходимо. Надо написать ему, что Тройка не уполномочена вступать в какие бы то ни было отношения с Министерством Иностранных Дел, что задача Тройки — рационализировать и утилизировать необъясненные явления, а потому Спиридон есть для Тройки не более как дело номер шесть, обязанное предстать, скажем, в понедельник. А его дипломатические функции Тройку ни в какой мере не интересуют.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Народ не располагает излишками бумаги для ведения переписки с необъясненными явлениями. С другой стороны, народ гостеприимен и хлебособен. Выражая общее мнение, предлагаю товарищу Зубо еще раз на словах объяснить делу номер шестому всю несообразность его поведения. Пищевым довольствием обеспечивать по-прежнему. Других предложений нет? Вопросов к докладчику нет?

— Какого калибра? — рявкнул полковник.

Лавр Федотович взял бинокль и наставил на шутника. Однако полковник мирно спал, и Лавр Федотович, снизойдя к его слабости, пренебрег и успокоился.

— Продолжаем дневное заседание Тройки, — произнес он. — Следующий. Доложите, товарищ Зубо.

Роман, удостоверившись, что Спиридону до понедельника не угрожает опасность быть передану в кружок юных планеристов или пущену в распыл, что-то шепнул Эдику и на цыпочках вышел. Комендант раскрыл очередную папку и принялся докладывать:

— Дело номер шестьдесят четвертое. Фамилия...

— Постойте, — сказал Фарфуркис. — Почему шестьдесят четвертое? Должно быть семьдесят второе.

— Согласно протоколу, — устало сказал комендант.

— Согласно какому протоколу?

— Согласно протоколу вчерашнего вечернего заседания. Вот протокол.

Фарфуркис ознакомился с протоколом и сделал несколько пометок в своей записной книжке.

— Продолжайте, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Фамилия: не установлена. Имя: не установлено. Отчество: не установлено...

— Протестую, — сказал Фарфуркис. — Что значит не установлено? Надо установить!

В милицию обратиться, если потребуется...

— Запирается, сволочь, — сказал Хлебовводов кровожадно.

— Это из прищельцев, — вяло сказал комендант. — У них не всегда есть.

— Я категорически протестую! — закричал Фарфуркис, распаясь и бешено листая свою книжку. — В инструкции сказано абсолютно четко! Параграф шестой главы четвертой части второй... Вот! «В случае, если необъясненное явление представляет собой живое существо, но по каким-то причинам собственное имя его не может быть установлено, надлежит в целях удобства регистрации и идентифицирования придать ему фамилию, имя и отчество по выбору и утверждению Тройки. Примечание: во избежание имперсонаций, злоупотреблений и диффамаций запрещается присваивать указанным живым существам имена широко известных деятелей истории, литературы и искусства. Примерный список имен — см. „Приложение № 19“.» Вы что, инструкции никогда не читали?

— Да! Не читал! — сказал комендант, распаясь. — Это не мне инструкция, это вам инструкция! Мне ее и в руки не дают! А вы вот вечно не дослушаете... У меня вот приложение к анкете есть: «Краткое описание дела номер шестьдесят четвертого».

— Какое там еще описание, — сказал Фарфуркис, но вид имел смущенный и вновь листал записную книжку.

— Сами же на прошлом инструктаже велели: если нет у человека ФИО, пускай будет хоть описание. Вот товарищ Выбегалло и составило... Говорят, говорят, и сами не знают, что говорят...

— Эта... — решился вставить Выбегалло. — Фэ се ке два адвиенн се ки пурра,⁶ значить...

— Затруднение? — мертвым голосом осведомился Лавр Федотович. — Товарищ Фарфуркис, устраните.

— Да, действительно, — признался Фарфуркис. — Я несколько поторопился с протестом. Дело в том, что я исходил из параграфа шестого, в то время как рассматриваемое дело подпадает под параграф седьмой той же главы, где говорится: «В случае, если необъясненное явление представляет собой субстанцию, лишь с некоторой долей неопределенности могущую быть названной живым существом, то есть если самый факт идентификации необъясненного явления как живого существа представляет для Тройки какие-либо затруднения...» — вот тогда, товарищи, действительно надлежит именовать такое явление по номеру дела и прилагать к анкете краткое описание... Я снимаю свой протест.

— Устранили? — осведомился Лавр Федотович. — Продолжайте, товарищ Зубо.

— А что мне теперь продолжать? — спросил комендант. — Пункт четвертый продолжать или сначала описание?

— А какая разница? — опрометчиво ляпнул Хлебовводов, но тут же испугался и полез зачем-то под стол.

Фарфуркис бешено листал книжку в поисках указаний и — не находил. Полковник проснулся и тяжело задумался. Даже Выбегалло попытался задуматься, но от натуги у него пошла носом кровь, и ему стало не до того. Я поглядел на Лавра Федотовича и ощутил себя потрясенным. Лавр Федотович возвышался над всеми нами, как некий бастион. Страшно

⁶ Поступай как следует, а там будь что будет.

было даже представить себе, какая титаническая мыслительная работа кипела сейчас за гранитным фасадом его спокойствия и невозмутимости. Пункт четвертый или описание? Описание или пункт четвертый? Это было не напускное спокойствие и не фальшивая невозмутимость. Это была беспредельная убежденность в том, что он один несет ответственность за все, убежденность, выкованная и отшлифованная десятилетиями работы на ответственных должностях.

— В инструкции нет соответствующих указаний, — обреченно произнес Фарфуркис.

Назревала трагедия, кошмарный беспрецедентный конфликт, разрешить который могло только чудо. И чудо свершилось.

— Доложите описание, — просто сказал Лавр Федотович.

И все ожило. Фарфуркис, просияв лицом, принялся делать пометки в протоколе. Хлебовводов вылез из-под стола и стал преданно смотреть на Лавра Федотовича. Полковник умиротворенно улыбнулся и снова заснул. Что же касается Выбегаллы, то он позволил себе дважды высморкаться, и притом таким образом, что произведенные им звуки могли быть легко восприняты и как слова безудержного восхищения на французском диалекте. Мы с Эдиком горячо пожали друг другу руки.

— Описание дела номер шестьдесят четвертого, — прочитал комендант. — «Дело номер шестьдесят четыре представляет собой бурю полужидкую субстанцию объемом около десяти литров и весом в шестнадцать килограммов. Не пахнет. Вкус остался неизвестен. Принимает форму сосуда, куда налили. На гладкой поверхности принимает форму круглой лепешки толщиной до двух сантиметров. Если посыпать солью, корчится. Питается сахарным песком. Со временем не протухает. Способно восстанавливать изъятые из него массы». — Комендант отложил описание и вернулся к анкете. — Пункт четвертый. Год и место рождения: не установлены, но, вероятно, не на Земле...

— Вероятно! — саркастически сказал Фарфуркис. — Это вы нам потом все обоснуете, — сказал он Выбегалле, погрозив пальцем.

— Всенепременнейше! — бодро отозвался профессор Выбегалло. — Народ будет доволен!

— Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание иностранных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. Был ли за границей: вероятно...

— То есть как? — вскинулся Хлебовводов. — То есть как это — вероятно?

— А так! — огрызнулся комендант. — Откуда мне знать? Может, он из Швеции сюда прибыл, он же не разговаривает...

— По-моему, бдительность у нас не на высоте, — сказал Хлебовводов. — Фарфуркис, занесите-ка ты, браток, на всякий случай в протокол: Хлебовводов, мол, напоминает коменданту о бдительности!

Комендант с ненавистью поглядел на него и продолжал:

— Краткая сущность необъясненности: неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта. Данные о ближайших родственниках отсутствуют, адрес постоянного местожительства неизвестен. Все.

— Ничего себе — все! — желчно хохотнув, сказал Хлебовводов. — Это был я директором конного парка номер два погрузо-разгрузочной конторы номер девять в одна тысяча девятьсот пятьдесят втором году, и приходит ко мне один мерин. Я, говорит, мерин. Документов нет, языков не знает, имя тоже неизвестно. Мне бы его гнать в три шеи или в милицию сдать, а я его по неопытности принял, понимаешь: чего там, думаю, пускай, мерин ведь. А он через неделю жеребенка приносит — раз! Скрывается без следа — два! И еще пять мешков овса как корова языком слизнула... Вот тебе и мерин. А ты мне тут толкуете — неизвестно, мол, возможно, не обнаружено... Как дети, ей-богу!

— Да-да! — решительно сказал Фарфуркис. — Я тоже не удовлетворен. Это не работа,

знаете ли. Коменданту простительно, но вы, товарищ Выбегалло, меня удивляете.

Выбегалло принял перчатку.

— Чем? Чем же это я вас удивляю, товарищ Фарфуркис? — осведомился он.

— Неубедительно составленным описанием, товарищ Выбегалло, вот чем! — сказал Фарфуркис.

— Отписка, а не описание получилась у вас, — добавил Хлебовводов. — Такое описание и я могу составить.

Тогда Выбегалло задрал бороду, плотоядно оглядел зарвавшихся критиканов, подпернул манжеты и принялся потрошить.

Оказалось, что высокой науке, которую он имеет честь здесь представлять, не впервой отстаивать интересы народа от нападков профанов и дилетантов. Се пенибль ме селя фе дюбьен.⁷ Он, профессор Выбегалло, связанный с народом пуповиной общего происхождения, никогда не считал для себя зазорным лично разоблачать происки и отражать наскоки. Он, профессор Выбегалло, считает своим долгом напомнить здесь некоторым отдельным товарищам, что наша наука не терпит очковтирательства, фактосочинительства и припискомании. Он, профессор Выбегалло, как человек может понять желание товарища Хлебовводова, чтобы дело номер шестьдесят четыре прилетело к нам, скажем, из ФРГ. Же превуа ля шер де пуль.⁸ Тогда бы товарищ Хлебовводов мог с легкой душой составить себе небольшой политический капиталец, явившись инициатором передачи этого дела в совсем иные инстанции. Понятно ему, профессору Выбегалле, и желание товарища Фарфуркиса, чтобы дело было определено признано веществом. Тогда бы товарищ Фарфуркис имел возможность отфутболить это дело в геологоразведочный институт и высвободить себе таким образом некоторое количество народного времени для сомнительных походов, не свидетельствующих о его высоком моральном уровне. Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. Если наука не имеет достаточных данных для утверждения, что дело номер шестьдесят четыре прибыло к нам, скажем, из ФРГ, то она, наука, на вопрос «Было ли дело за границей?» прямо и недвусмысленно отвечает: вероятно. Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как «неизвестное существо, в скобках — возможно, вещество». Присутствующий здесь Лавр Федотович подтвердит, что давно прошли времена очковтирательства, фактосочинительства и припискомании и что напрасны попытки отдельных членов Тройки повернуть колесо истории вспять. Ле марьяж се фо дан ле съе⁹

Поддавшись воздействию корпоративного духа, мы с Эдиком громко заплодировали. Выбегалло раскланялся и сел.

Препарированный и выпотрошенный Хлебовводов счел в таких условиях за благо отступить на исходные позиции, с коих он вновь принялся преданно глядеть на Лавра Федотовича. Хитроумный же Фарфуркис не сдавался. Тяжко страдая от полученных ран, он все же нашел в себе силы зайти с фланга и нанести ответный удар.

— Я хотел бы только подчеркнуть, — веско сказал он, — что мы не юннаты, что мы ответственность несем, что обязанность наша — рассматривать объекты необъясненные, а нам здесь предлагают к рассмотрению объект фактически неизвестный. Согласно же инструкции, — продолжал он, возвысив голос, — метод работы с неизвестным объектом должен быть принципиально иным, поскольку неизвестный объект может, в частности,

⁷ Это тяжело, но это полезно.

⁸ Мне пришлось все это предусмотреть.

⁹ Браки совершаются на небесах.

оказаться самовозгорающимся, взрывчатым, ядоопасным или даже антропофагическим. Вот почему я категорически против рассмотрения дела сейчас, когда среди нас находится Лавр Федотович, жизнь которого представляет слишком большую ценность для того, чтобы мы имели право ею рисковать.

Все взгляды устремились на Лавра Федотовича. Лавр Федотович долго молчал, опустив веки, и дымил «Герцеговиной Флор». Затем он произнес:

— Народ...

— Да! Да! — подхватил Фарфуркис. — Вот именно!

Однако Лавр Федотович словно бы и не слышал этого восклицания. Он поднес к глазам бинокль и несколько минут рассматривал по очереди коменданта и Выбегаллу. Спокойствие, с которым оба они ожидали начальственного решения, видимо, удовлетворило его.

— Народ ждет от нас подвига, — произнес он наконец, опуская бинокль. — Пусть дело войдет, товарищ Зубо.

Комендант засеменил к двери в приемную, а Лавр Федотович между тем извлек из портфеля противогазовую маску и положил ее на стол перед собой.

Комендант быстро вернулся, держа обеими руками большую стеклянную банку с делом номер шестьдесят четыре. Лицо у него было отчаянное, и мы с Эдиком его сразу поняли. Во-первых, банка была из-под соленых огурцов, максимум на пять литров, и куда девались остальные пять литров прищельца, было непонятно. Во-вторых, дело номер шестьдесят четыре было отчетливо синее, а вовсе не бурое, как следовало из описания. Ну, сейчас начнется, подумал я. И началось.

Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами.

— Бурое! — закричал он. — Бурое! Что вы нам принесли, товарищ Зубо? Почему синее, когда бурое? Лавр Федотович! Синее, а не бурое! А по описанию — бурое, а не синее!..

Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое, не знает он, почему оно посинело, само оно посинело, он его не красил и не подменял; Хлебовводов требовал акта и все твердил про обманщика-мерина; Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и в попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать; а полковник проснулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли, только комендант из последних сил хрипел истоно: «Иисусом Христом нашим... сыном божиим... матерью его, пречистой девою Марией... не красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе словно из Мамонтовой пещеры густо прогудел голос Лавра Федотовича:

— Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните.

Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно двенадцатым параграфом пятой главы четвертой ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления надлежит составить акт по форме номер сто десять дробь два. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить: а) необъясненное явление в его настоящем виде и б) цветная его фотография (кинолента) в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полубомбочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией (кинолентой) и немедленно обнаружил, что фотографии (киноленты) в деле нет.

— Где фотография? — страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся. — Где две цветные фотографии дела номер шестьдесят четыре размером девять на двенадцать?

Комендант лишь слабо шевелил губами.

— Да ведь он преступник, — сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном.

— Нет, — сказал комендант.

— Халатный саботажник! — сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением.

— Нет! — простонал комендант. — Иисусом Христом... двенадцатью святыми апостолами...

— Гнойный прыщ на лице местной администрации! — сказал Фарфуркис.

— Да нет же! — заорал комендант. — Я-то здесь при чем? Это Найсморг! Он, а не я. Он же отказался!

— То есть как отказался?

— Я ему говорю: фотографируй. А он не желает! Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует!.. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется!.. У меня и допуска нет...

— Найсморка ко мне! — глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинулся вон из помещения.

— Не нравится мне этот Зубо, — сейчас же сказал Фарфуркис. — Скользящая какая-то личность.

— Свиной откармливает, — живо сообщил профессор Выбегалло.

— Это нам известно, — сказал Фарфуркис.

— Дочка его... эта... развелась.

— Тоже известно.

— Брагу варит...

— Варит, — признал Фарфуркис. — И торгует...

— Иконы у него в доме, — сказал Выбегалло. — Староверские. И Библию он читает и конспектирует.

— Да? — сказал Фарфуркис. — Это интересно.

— Нузан савон келькешоз оси,¹⁰ — самодовольно произнес Выбегалло.

Тут Хлебовводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. Погиб комендант, подумал я. И точно: Хлебовводов взял банку в руки и взвесил ее на ладони.

— А ведь не будет здесь пуда, — сказал он. — Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет. То-то же я смотрю, что в описании сказано — десять литров, а банка мне хорошо знакомая, пятилитровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусьваю... А вот тут и этикетка есть... «Огурцы соленые... Емкость пять литров». Чувствуете, на что я намекаю? Чувствуете?

Лавр Федотович содрал с лица противогаз и нацелился биноклем на банку. Выбегалло даже пасть разинул от любопытства. Фарфуркис с остервенением листал свою книжку, а я соображал, что теперь будет с комендантом: просто ли перевод с понижением или приклеют ему уголовщину. Жалко мне было коменданта. Симпатичный он был человек, хоть и дурак.

— И ведь еще ничего не известно, — сказал Хлебовводов, сосредоточенно нюхая дело. — Он, может быть, отлил, а потом водой разбавил... и вообще это, может быть, вода. Набросал туда синьки для крепости и думает, что дело в шляпе...

Дверь распахнулась, и в комнату, нагнув голову, ввалился, держа руки в карманах, длинный и тощий Найсморг. Прямо с порога он затыкнул, глядя в нижний дальний угол комнаты: «Ну чего еще... Опять придираетесь... Чего еще я вам не угодил...» Однако на него не обратили внимания. Все взгляды зловеще скрестились на бледном коменданте, который выглядывал из-за спины Найсморка и тоже ныл: «...Вот он пускай и отвечает, а я что... у меня и допуска нет...»

— Товарищ Зубо, — ровным голосом провозгласил Лавр Федотович, и все замерли. —

¹⁰ Мы об этом тоже кое-что знаем.

Надлежит вам представить недостающие пять литров дела. Срок — четыре минуты.

Я подскочил к коменданту, подхватил его под мышки и выволок в приемную, где и уложил на модных очертаний деревянную скамью для посетителей. Комендант был блее мрамора, глаза закачены, пульс не прощупывался. Я подложил ему под голову свою куртку, расстегнул ему воротник косоворотки и похлопал по щекам, дуя в лицо. Это не произвело на несчастного никакого впечатления, однако ясно было, что он не умирает, и, оставив его лежать, я заглянул в комнату заседаний. Мне было очень интересно, как выкрутится Найсморг.

А Найсморг выкручивался с блеском. Он загнал Хлебовводова и Фарфуркиса в угол, навис над ними двумя своими баскетбольными метрами и десятью сантиметрами и орал на них, как с трибуны:

— Я параграф двенадцатый знаю получше вашего! Я на нем крокодила съел, собакой закусил! Там сказано — анфас! По-русски понимаете? Ан-фас! Покажите мне, где у этого киселя анфас, и я его целый день снимать буду! Где у него анфас? Где? Ну где? Ну чего же молчите? Я самого господина Сукарно снимал! Я самого этого снимал... как его... ну, в шляпе еще все ходил! Я параграф двенадцатый наизусть!.. А если фаса нет? У господина Сукарно фас был нормальный! У этого... как его... фас был будь здоров, в три дня не обгадишь! А у этого где?..

Хлебовводов и Фарфуркис уже не помышляли о нападении. Бегая глазами по сторонам, они только молча рвались из угла, толкаясь и топоча, как взволнованные лошади в загоне. Полковник от крика опять проснулся, и ему, видимо, спросонья тоже пришли в голову какие-то лошадиные аналогии — он ерзал в кресле и, жуя губами, пронзительно вскрикивал: «Взнуздывай! Взнуздывай!» Лавр Федотович, удобно развалившись в кресле, разглядывал все это в бинокль.

Я вернулся к коменданту и дал ему понюхать воды из графина для посетителей. Комендант тут же очнулся, но предпочел впредь до выяснения притворяться бесчувственным.

— Товарищ Зубо, — сказал я ему на ухо. — Ваше дело полубморочное, лежите тут себе, а минут через пять-десять приходите и твердите одно: ничего, мол, не знаю, ничего не делал. А я все постараюсь устроить. Договорились?

Комендант слабо вздохнул в знак согласия. Он даже хотел что-то сказать, но тут дверь с треском распахнулась, и он снова притворился мертвым. Впрочем, это был всего лишь Найсморг. Он с наслаждением ахнул дверью, так что за обоями что-то просыпалось, и сообщил:

— Меня охрана топтала, когда я этого снимал... как его... и то ничего! Не на таковского напали! Где фас? Нет фаса! А нет фаса — нет фото! Будет фас — будет фото. Инструкция! — Он пренебрежительно поглядел на распростертого коменданта и сказал: — Слабак! Курица! Я таких пачками снимал. Закурить есть?

Я дал ему закурить, и он удалился, грохая всеми дверями по дороге. Я тоже закурил и, сделав две затяжки, вернулся в комнату заседаний. Полковник уже снова дремал. Фарфуркис, отдуваясь, листал записную книжку, а Хлебовводов что-то шептал на ухо Лавру Федотовичу. Завидя меня, он перестал шептать и спросил боязливо:

— Этот... фотограф... ушел?

— Да, — сказал я сухо.

— А комендант где? — грозно спросил Хлебовводов.

— У него печеночная колика, — сухо сказал я.

— Госпитализирован? — быстро спросил Фарфуркис.

— Нет, — сказал я.

— Тогда пусть войдет, пусть ответит! Это подсудное дело!

Я набрал в легкие побольше воздуха и начал:

— Мне непонятно, товарищи, что здесь происходит. Мне непонятно, где я нахожусь. Это авторитетная комиссия или я не знаю что? Мы присутствуем при интересном научном

явлении, которое развивается по имманентным ему законам, представляющим огромный научный интерес. Я вам удивляюсь, товарищ Выбегалло, на вашем месте я бы давно потребовал констатировать в протоколе, что здесь обнаружена несомненная корреляция между колориметрическими и контракционными характеристиками объекта... Как мы должны это понимать? — сказал я, обращаясь к Эдику.

— Мы должны понимать это так, — немедленно подхватил Эдик, — что резкое изменение объема и массы объекта, так называемая контракция, привело к изменению цвета, а возможно, и химического состава...

— Я прошу товарищей вдуматься в этот факт! — сказал я. — Особенно вот вас, товарищ Выбегалло. Мы обнаруживаем изменение цвета, не имея в своем распоряжении ни колориметра, ни спектрографа, ни... э-э...

— Ни даже простейшего термобарогелиоптера, — восторженно сказал Эдик. — Такого еще не бывало! Удивительный эффект, наблюдаемый простым глазом! А если учесть, что эффект этот обнаруживается при комнатной температуре и при нормальном атмосферном давлении, то можно смело утверждать, что мы имеем дело с необъясненным явлением феноменальной ценности. Я должен подчеркнуть, что многие аспекты проблемы остались еще абсолютно не исследованными. Было бы чрезвычайно интересно изучить влияние контракции на вкусовые и магические свойства данной субстанции. Науке известны случаи, когда под влиянием контракции магодетерминант Иерусалимского менял знак на противоположный. Так, например, Роже де Понтреваль установил...

Пока Эдик, постепенно все более увлекаясь, излагал суть работ Роже де Понтревалю, я старался определить настроение присутствующих. Реакция Тройки казалась мне благоприятной: Лавр Федотович за бинокль не брался, Фарфуркис книжечку не листал, Хлебовводов слушал, отвесив челюсть, а полковник спал. Опасения мог внушить один лишь Выбегалло, который, по-видимому, все еще прикидывал, какие выгоды можно извлечь из создавшейся ситуации. Ему надо было помочь определиться, и, как только Эдик замолчал, я двинул в бой гвардию.

— Между прочим, мне еще неясно, — сказал я, — должны ли мы рассматривать происшедшую здесь безобразную сцену как недоразумение, проистекающее из легкомыслия отдельных членов Тройки, или, может быть, как сознательную попытку отдельных членов Тройки замазать новооткрытый эффект и скрыть его от научной общественности. Такие случаи бывали, — закончил я гробовым голосом, сел, выхватил из кармана блокнот и изобразил несколько сверхчеловеческих профилей.

Было слышно, как на столе перед председателем умывается муха.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Какие вопросы к докладчику?.. Нет вопросов? Какие предложения?

Было видно, что Выбегалло понял, с какой стороны масло на данном бутерброде. Однако он не торопился. Он встал, разгладил бороду, уперся растопыренными пальцами в тома «Малой Энциклопедии» и некоторое время смотрел вверх голов.

— Эта... — начал он. — Я уже тут неоднократно говорил, не знаю, в протокол меня занесли или нет, шумно было очень, говорил я уже, значить, что эффект колориметрической контракции до сих пор не обнаруживался, а мы его тут... эта... обнаружили и свалили, значить, на коменданта, на... ле пувр Зубо... Не все, конечно, свалили, а некоторые отдельные... эта... далекие от науки. Я уже тут говорил, что рано, товарищи, дело номер шестьдесят четвертое рационализировать, а тем более, упаси бог, утилизировать. Дело, конечно, надо отложить, и отложить его надо на срок, который потребуется, а вот чего отложить нельзя, товарищи, чего мы с вами не имеем никакого права откладывать, так это вопроса о приоритете. Дан нотр позисьон нэ определенный де деувар.¹¹ И в данном случае наша деувар состоит в том, чтобы эффект назвать и... эта... сохранить для истории. А

¹¹ В нашем положении существуют определенные обязанности.

потому я категорически предлагаю ходатайствовать перед компетентными органами о присвоении этому эффекту имени товарища Вунюкова. Се ту се ке же ву ди.¹²

Дальше все пошло как по маслу. Появился комендант, который, разумеется, подслушивал под дверь. Встретили его благосклонно, он твердил, что ничего не знает, что это дело научное, а у него только едва восемь классов за душой... а его уверяли, что все выяснилось, что нельзя же так, работа есть работа, бывают срывы, бывают отдельные ошибки. Фарфуркис пожал ему руку в знак извинения, Хлебовводов назвал братком, а Лавр Федотович даже пошутил: «Была вам здесь сегодня баня, товарищ Зубо, так что посетите-ка вы сегодня баню!» Когда все отсмеялись, Лавр Федотович снова посуровел и произнес:

— Повестка заседания исчерпана. Я констатирую, что данное заседание, как и все предыдущие, происходило в деловой и рабочей атмосфере. Другие предложения будут? Нет? Тогда объявляю дневное заседание Тройки закрытым и предлагаю перейти к отдыху и обеду.

Он погрузил в портфель все свои председательские принадлежности, поднялся из-за стола и степенно двинулся к выходу. Хлебовводов и Выбегалло, сбив с ног зазевавшегося Фарфуркиса, кинулись, отпихивая друг друга, открывать ему дверь.

— Бифштекс — это мясо, — благосклонно сообщил им Лавр Федотович.

— С кровью! — преданно закричал Хлебовводов.

— Ну зачем же с кровью? — донесся голос Лавра Федотовича уже из приемной.

Мы с Эдиком распахнули все окна. С лестницы доносилось: «Нет уж, позвольте, Лавр Федотович... Бифштекс без крови, Лавр Федотович, — это хуже чем выпить и не закусить...» — «Наука полагает, что... эта... с лучком, значить...» — «Народ любит хорошее мясо... например, бифштексы...»

— В гроб они меня вгонят, — озабоченно сказал комендант. — Погибель они моя, мор, глад и семь казней египетских...

— Товарищ Зубо, — сказал я сурово, — извольте объяснить, что же произошло на самом деле. Почему так мало прищельца? Почему он в этой банке?

— Ничего не знаю, ничего не делал, это эффект научный, — забарабанил комендант. Я прервал его.

— Товарищ Зубо, вы мне это прекратите, ведь Корнеев из вас душу вынет за эти штучки. Вы знаете Корнеева.

Комендант знал Корнеева. Он снова наладился было в обморок, но тут в комнату вернулся Фарфуркис. Тройка, как всегда, забыла за столом полковника. Фарфуркис разбудил его и увел, приговаривая: «Неужели трудно было проснуться вовремя? Старая вы песочница, в самом деле... Удивительно даже!»

— Ну? — сказал я, когда они удалились.

— Вы расскажите нам, пожалуйста, товарищ Зубо, — попросил вежливый Эдик. — Может быть, делу удастся помочь...

Комендант понурился.

— Нет, — сказал он. — Никак этому делу уже не поможешь. Кто разбил, не знаю, а только прихожу я сегодня утром готовить его к демонстрации, а горшок евовный, глиняный... ну, в котором он прилетел... лопнул, половина вытекла, лужа на полу, и дальше вытекает. Ну что мне было делать? Эх, думаю, семь бед — один ответ. Перелил я, что осталось, в эту банку — совру, думаю, что-нибудь, а может, и вовсе не заметят... Но это еще что! — В глазах его мелькнул пережитый ужас. — Бурый ведь он был, ребятки, переливал его — видел... А тут выхожу за банкой — мать моя мамочка — синий!.. Не-ет, вгонят они меня в гроб, сегодня бы уже и вогнали, если бы не вы, ребятки, благодетели мои...

Мы с Эдиком переглянулись.

— М-м? — спросил я.

— Ну что ты, — неуверенно сказал Эдик. — Не может быть... Вряд ли... Сомнительно

¹² И это все, что я могу вам сказать.

что-то... Хотя...

Когда мы спускались по лестнице, он сказал:

— Вся беда в том, что это — Витька. Никогда нельзя угадать, на что он не способен...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи Хлебовводов и Выбегалло отравились за обедом грибами и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии. Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом, метрдротелем. И что же? Выяснилось: за обедом Лавр Федотович, выступая против товарища Хлебовводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом и, следовательно, перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальные порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут.

Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я — тоже. Один только Эдик остался недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании.

Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу. По дороге на меня напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата и для начала составил бы развернутый план этой работы, рассчитанной на три года (пока он будет учиться в аспирантуре). Через пять минут беседы свет стал мраком перед моими глазами, горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас Эдик. «Такого рода работу, — вежливо, но твердо сказал он, — следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать „Азбуку радиотехники“ Кина?» Старику вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно, — сказал я, возвращаясь к жизни. — Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите там „Азбуку“, „Геометрию“ Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса. Прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и удалился, увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно.

Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман, голый по пояс, сидел у окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое.

— А, работяги! — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. — Прозаседавшиеся! Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер шестьдесят четыре? Распили на четверых или вылили на помойку?

— Значит, это все-таки ты натворил? — сказал Эдик.

— Хватать и тикать, — ответил Витька. — Сто раз я вам говорил.

— Убирайся с моей койки, — потребовал я.

— Я вам тысячу раз говорил, остолопам, — сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою. — Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть! И я сегодня все устрою. Эдельвейса я

утоплю в канализации. Чего тебе еще нужно, Сашка? Черный Ящик тебе? Будет тебе Черный Ящик, я знаю, где он у них стоит... Теперь Амперян. Чего тебе нужно, Амперян? А, Клопа тебе? Давай сюда тару какую-нибудь...

С этими словами он схватил Говоруна за ногу и потащил со стены, но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил Клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу.

Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем керамическом снаряде Жидкий пришелец; как он долго не мог вскрыть контейнер, как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколот его взглядом над бидоном, позаимствованным в кладовке у коменданта («...у него там целое сырное производство, у кулака, даже сепаратор есть...»), как потом долго искал, что бы этакое налить в опустевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то бурдой... В Институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал до обеда, как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие довольно пока скромные результаты, и вот он снова здесь, юный и свежий, как д'Артаньян, чья шпага всегда — к услугам друзей. Пришелец шлет всем приветы, утверждает, что только в Витькиной лаборатории почувствовал себя на Земле как дома, а бидон он, Витька, честно приволок обратно, потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь паршивый домушник, и теперь намерен вскорости вернуть бидон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на территории Колонии, то ради бога, не стесняйтесь, он, Витька, готов.

Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз и этот второй раз, по его словам, ничем не отличался от первого: то же хвастовство и те же сомнительные притязания на честность. Я не без восхищения обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее.

Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди. Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, Витька, уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки снизойдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь, наконец?

Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть пусть даже самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного, но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном конкретном случае.

Витька ответил, что, по его наблюдениям, так называемые порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его, Витьку, сейчас меньше всего интересует теория, его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его, Витьку, рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем Амперяном на вчерашнем вечернем заседании? («...Если уж взялся, так и довел бы до конца, чистоплюй; прикончили бы насильственно облагороженные стервятники насильственно облагороженного дурака Эдельвейса — было бы дело, а то один пшик и розовые сопля...»)

Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский, безграмотный выпад. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести Тройку до верхнечеловеческого уровня, и хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует

сто процентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшая дискуссия в таком тоне должна неизбежно выродиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев мастер, и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров.

Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтересной, хотя и высказанной мимоходом, идеи относительно Эдельвейса и канализации. Он, добрый и объективный Привалов, ждет только субботы, когда Тройка будет рассматривать дело номер девяносто семь, надеется это дело выиграть и после этого покинет Китежград навсегда, унося в клюве Черный Ящик. А пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельностью Тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях, дабы не упустить и тени шанса.

Старший из магистров к моменту своего выступления закончил холю ногтей, густо напудрил воспаленные от бритья щеки и, развеса на трельяже все свои восемнадцать галстуков из тринадцати различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и, следовательно, все здесь не правы. Он, старший из магистров, всячески приветствует благородное намерение Э. Амперяна разоблачить членов Тройки в их собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть, если бы не были такими, каковы они есть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация является высшей формой воздействия человека на человека, но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является в то же время и наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм А. Привалова, его, А. Привалова, нерушимую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили, а счастливый случай есть необходимая компонента всех начинаний. Но он же, Роман (старший из магистров), напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия В. Корнеева вызывают в нем, Романа, чувство невольного восхищения, каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет частное решение — в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгуче черные глаза и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный горбатый гасконский нос. Между тем у товарища Голого, администратора в высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, он, Роман, полагает, что сказал уже более чем достаточно и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине; что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища Голого; и что задача таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа, старшего из магистров. Пока в своем активе он, Роман, числит: три бессонных ночи, заполненных чтением наизусть поэта Гумилева; два кошмарных вечера, проведенных у товарища Голого в беседах о хорканье вальдшнепов и чуфыканье тетеревов; ежедневное мучительное бритье опасной бритвой; сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в лицевых мускулах — следствие непрекращающейся мужественной улыбки.

— Победа будет за мной, — заключил Роман, натягивая пиджак. — И тогда я вас не забуду, мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники!

Он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел, посвистывая. Клоп, потеряв надежду самовыразиться, с независимым видом выскользнул за ним. Только сейчас я заметил, что Феда в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика.

— Может, хватит трепаться? — сказал я утомленно. — Может, лучше пойдем прогуляемся?

— Я знаю только одно, — не обратив на меня внимания, сказал Эдик. — Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакомо, ни Федору Симеоновичу. И уж во всяком случае, ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец.

Это был удар большой жестокости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакомо и Федор Симеонович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание.

Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, почернел, как удушенный. Он искал слов, грубых, оскорбительных слов, и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты. Он вскочил и пробежался по потолку. Потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, пробежался и пнул бидон ногой с такой силой, что бидон исчез. Потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул: «Ну и пр-ропадайте тут, вегетарианцы!» — и исчез сам.

Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько сказал:

— Я хотел бы осмотреть Колонию, Саша. Ты меня не проводишь?

— Пойдем, — сказал я. — Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь. А то я обещал Спиридону кое-что почитать.

Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону.

— Да-да, — рассеянно отозвался он. — Обязательно.

— Так пошли? — предложил я.

— Я занят! — раздраженно сказал Клоп. — Разве вы не видите, что я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь... Некоторые люди, — сказал он Эдику с любезной улыбкой, — бывают временами чрезвычайно бестактны.

Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке, и совсем расстроился. До Колонии мы шли молча и около павильона, в котором жил Спиридон, расстались. Эдик сказал, что он посмотрит, как тут и что, а потом вернется сюда.

Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах здесь стоял ошеломляющий — холодный, резкий, от которого съеживалась кожа, а в мозгу возникали неприятные ассоциации: вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей Бабы Яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть первый спазм и ждать, пока принохаешься. Я сел на край бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона видно не было — вода волновалась, по ней прыгали блики, крутились маслянистые пятна.

— Спиридон, — позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна.

Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне: наверняка ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую он просил, и не Выбегалло какой-нибудь пришел, а старый приятель, который все эти штучки наизусть знает, — и все-таки нет! Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могущественный, какой он непостижимый и как легко он может спрятаться в прозрачной воде.

Оказался он, разумеется, прямо у меня под ногами. Я увидел его подмигивающий глаз

величиной с тарелку.

— Ну хорошо, хорошо, — сказал я. — Красавец. Ничего не вижу, только глаз вижу. Очень эффектно. Как в цирке.

Тогда Спиридон всплыл. То есть не то чтобы он всплыл, он, собственно, и не погружался, он все время был у поверхности, просто теперь он позволил себе быть увиденным. Плоские дряблые веки его распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинуло фальшивые щиты, огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились на меня с нечестивым юмором, и слабый хрипловатый голос произнес:

— Как ты сегодня меня находишь?

— Очень, очень, — сказал я.

— Гроза морей?

— Корсар! Смерть кашалотам!

— Опиши меня, — потребовал Спиридон.

— Пожалуйста, — сказал я. — Но я не Альфред Теннисон, я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой.

Спиридон одним длинным неувлимым движением как бы перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основания его рук, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась иссиня-бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками, из самых недр организма высунулся в венце мясистых шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный клюв. Послышался пронзительный скрежет: Спиридон хохотал.

— Завидуешь, — сказал он. — Вижу, что завидуешь. Ох, и завистливы же вы все, сухопутные! И напрасно. У вас есть свои преимущества. Гулять сегодня пойдем?

— Не знаю, — сказал я. — Как все. Я вот папку принес. Помнишь, ты просил?

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Как же...

Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и принялся мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах и потянуло в сон. Представилось, что сижу я с удочкой ясным утром, солнышко греет, блики бегают по теплой воде, и сладко так тянет все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился.

— Тьфу, — сказал я. — Грязью своей... Тьфу!

— Почему же — грязью? — удивился Спиридон. — Чистейшая вода, в нечистой я бы умер.

— Черта с два ты бы умер, — вздохнул я. — Знаю я тебя.

— Бессмертен, а? — самодовольно сказал Спиридон.

— Что-то вроде этого, — согласился я. — Ну-ка, перестань мерцать. Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?

— Я не нарочно, но я могу и перестать. — Он вдруг снова оказался у самых моих ног. — А где наш говорливый дурак? — спросил он. — И где твой волосатый приятель?

— Он не только мой приятель, — возразил я. — Он и твой приятель. Что у тебя за манера — оскорблять друзей?

— Друзей? — спросил Спиридон. — У меня нет друзей. Я не знаю, что это такое.

— А как насчет Генерального содружества? — спросил я. — Чей же ты тогда Полномочный посол?

Спиридон холодно взглянул на меня.

— Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? — осведомился он. — Можешь не отвечать. Вижу, что очень смутное. Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми терминами. В данном случае совершенно новое для вас, людей, явление — мою искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной завтрашним — я определяю старым термином «Генеральное содружество».

— Ага, — сказал я. — Значит, Генеральное содружество — это вранье.

— Ни в коем случае, — возразил Спиридон. — Это, повторяю, содружество меня со

мной.

— Вот я и говорю: вранье, — повторил я. — Кроме самого себя, ты ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной.

— Гигантские древние головоногие, — наставительно сказал Спиридон, — всегда одиноки. И всегда рады этому обстоятельству.

— Понятно. А кто же тогда тебе мы — Федя, Говорун, я?

— Вы? Собеседники. Развлекатели... — Он подумал немного и добавил. — Пища.

— Скотина ты, — сказал я, обидевшись. — Грязные ты подштанники. — Это прозвучало несколько по-хлебовводовски, но я очень рассердился. — Ну и отмокай здесь в своем гордом одиночестве, а я пойду.

Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился крючьями присосков мне в штанину и не пустил.

— Подожди, подожди, — сказал он. — Надо же, обиделся! До чего же вы все, сухопутные, правды не любите... Все что угодно вам можно говорить, кроме правды. Вот мы, Гигантские древние головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на кашалота, я предельно бесхитростен. Я не говорю ему: «Позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виделись!» Я вообще ничего не говорю ему, а просто приближаюсь с совершенно отчетливо выраженными намерениями... И ты знаешь, — сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, — и ведь кашалоты этого тоже не любят! Удивительно нерационально построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность принимается нами как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. Но до чего же вы все не любите называть черное черным! А я вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп называет меня трясинной, а ты называешь меня грязными кальсонами, я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности — насколько Гигантские древние головоногие вообще способны испытывать это чувство, — ибо только знание правды позволяет мне существовать.

— Ну хорошо, — сказал я. — А если бы я назвал тебя сверкающим брильянтом и жемчужиной морей?

— Я бы тебя не понял, — сказал Спиридон. — И я бы решил, что ты сам себя не понимаешь.

— А если бы я назвал тебя владыкой мира?

— Я бы сказал, что предо мною разумное существо, которое привыкло говорить владыкам правду в глаза.

— Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира.

— Значит, ты менее умен, чем кажешься.

— Еще один претендент на мировое господство, — сказал я.

— Почему — еще? — забеспокоился Спиридон. — Есть и другие?

— Злобных дураков всегда хватало, — сказал я с горечью.

— Это верно, — проговорил Спиридон задумчиво. — Взять хотя бы одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альбинос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внутреннее дело, меня это не касалось. Но затем он объявил себя владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить себя господином Вселенной... Кстати, твои соотечественники — я имею в виду людей — этому поверили и даже признали его олицетворением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни, некоторые варварские племена, предчувствуя хаос, отваживались на дерзкие налеты, кашалоты стали вести себя вызывающе, и я понял, что надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспут. — Спрут замолчал, глаза его полузакрылись. — У него были на редкость мощные челюсти, — сказал он наконец. — Но зато мясо было нежное, сладкое и не требовало никаких приправ... Гм, да.

— Диспуты! — вскричал вдруг Панург, ударяя колпаком с бубенчиками об пол. — Что может быть благороднее диспутов? Свобода мнений! Свобода слова! Свобода самовыражения! Но что касается Архимеда, то история, как всегда, стыдливо и бесстыдно умолчала об одной маленькой детали. Когда Архимед, открывши свой закон, голый и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», все жители Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достижению отечественной науки, о котором они еще ничего не знали, а узнав — все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик показал на пробежавшего гения пальцем и, заливаясь смехом, завопил: «Ребята! Э, пацанье! А ведь Архимед-то голый!» И хотя это была истинная правда, его тут же на месте, поймав за ухо, жестоко выпорол солдатским ремнем науколюбивый отец его.

— Возможно, — сказал Спиридон. — Возможно... Давай-ка мы почитаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что о нас знают и помнят люди.

Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу под странным названием «Спруты и люди». Его обурежала идея, что головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архивов, записал множество японских легенд и все самое интересное, с его точки зрения, перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу написать ему не удалось: он увлекся диссертацией на тему «Предательство японской либеральной буржуазией интересов японского рабочего класса». Папка была заброшена, большая часть материалов утрачена, но кое-что осталось — стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ровным дядиным почерком. На каждом листочке — выписка из какой-нибудь книги или рукописи с неременной ссылкой на использованный источник.

— Попряд читать? — спросил я.

— Попряд, попряд, — сказал Спиридон. — И не торопись. Я буду все обдумывать.

— Ладно. — Я взял первый листок. — «Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает тушь волнами, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и чилимсов, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их. В „Бэнь-цао ган-му“ сказано, что ика содержит тушь и знает приличия». («Книга вод».)

— Что такое тушевая слюна? — спросил Спиридон.

— Нет уж, это ты мне скажи, пожалуйста, что такое тушевая слюна, — возразил я. — И заодно — каким образом дощечка может содержать тушь?

— Забавно, забавно, — задумчиво сказал Спиридон. — Видимо, перед нами здесь наивное описание небольшой каракатицы. Хотя, с другой стороны, каракатицы никогда не знали приличий. Более неприличное существо трудно себе вообразить. Я, во всяком случае, не берусь. Разве что Клоп. Ну ладно, дальше.

— «По мнению Бидзана, — прочитал я, — ика есть не что иное, как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово „ика“ пишется знаками „ворона“ и „каракатица“». («Сведения о небесном, земном и человеческом».)

— Что есть ворона? — осведомился Спиридон.

— Птичка такая, — ответил я. — Черная, со здоровенным клювом.

— Какая вульгарная фантазия, — пробормотал Спиридон. — Дальше.

— «К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются клевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово „ика“ пишется знаками „ворона“ и „каракатица“. Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим и пользуются, когда пишут ложные клятвы». («Книга гор и морей».)

Пока я читал, в павильон вошел Федя. Он поклонился Спиридону, уселся рядом со мной и стал слушать. Когда я кончил читать, Спиридон проворчал:

— Вот это более похоже на правду. Я сам, признаться, так лавливал альбатросов в молодости... Я только не понимаю, почему всех этих людей так интересуют вороны и тушь? Сплошные вороны и тушь.

— Тушью в те времена писали, — сказал я. — А с воронами вас связывают из-за клюва. Неужели непонятно?

— Предположим, — сказал Спиридон холодно. — Здравствуйте, Федор. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо, — тихонько сказал Федя. — Я не помешаю?

— Ни в какой мере, — сказал Спиридон. — Продолжай, Саша.

— «Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря Сэто. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько шагов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело». («Книга гор и морей».)

— Опять тушь, — проворчал Спиридон. — Дальше.

— «У поэта древности Цзо Сы в „Оде столице У“ сказано: „Ика держит меч“. Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов». («Книга вод».)

— Нет, не поэтому, — сказал Спиридон. — А потому, что Цзо Сы по своей глупости превосходит даже Бидзана, упоминавшегося выше. Дальше.

— «В море водится ика, спина его похожа на игральную кость, телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает большого голого человека с круглой головой». («Записи об обитателях моря».)

— Ну, это про осьминогов, — сказал Спиридон. — У них спина бывает еще и не на то похожа. На месте осьминога я бы, конечно, обиделся, но я, слава богу, на своем месте. Продолжай.

— «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза, как луна, длина его достигала тридцати шагов. Цветом он был как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Поэтому бухту называли Такогаура — Бухта Тако». («Упоминание о тиграх вод».)

— Гм, — сказал Спиридон. — Может быть, это был я. Какого века материал?

— Не знаю, — ответил я. — Здесь не написано.

— Гм. Цветом как жемчуг... Где она, эта ваша Япония? Это такие островки на краю Тихого океана?.. Очень возможно, очень... Ну, дальше!

— «В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, а ему ответили, что в море около тех мест живет большой ика. У него голова, как у Будды, и все называют его „бодзу“, то есть монах. Бывает, что он выходит на берег и разрушает лодки». («Предания юга».)

— Бывает и не такое, — загадочно сказал Спиридон. — Дальше.

— «Береговой человек говорит: ика и тако, но не знает разницы. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и тушь внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то время как у тако брюхо круглое и мягкое, восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому ныряльщицы боятся его». («Упоминание о тиграх вод».)

— Здесь какая-то нелогичность, — задумчиво заметил Спиридон. — Раньше авторы этих заметок все время путали кальмара с осьминогом. И вообще все эти люди — и береговые, и морские — по-видимому, до смерти нас боятся. Я всегда так думал. Приятно услышать подтверждение. Н-ну-с, а что там дальше?

— «В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй.

Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, напрасно прождав положенное время, вышла замуж за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Ку, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном». («Предания юга».)

— Чистейшее вранье, — сказал Спиридон. — Наверняка этот Гэнгобэй просто решил сходить в пираты подзаработать. Очень похоже на людей. Впрочем, это мелочь. Дальше.

— «Тако злы нравом и не знают великодушия. Если их много, они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где тако собирались для свершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным в столицу. Поэтому и говорится: тако-но томокуи — взаимопожирание тако». («Записи об обитателях моря».)

— Взаимопожирание! — сказал Спиридон раздраженно. — Это похороны, а не взаимопожирание... Глупцы.

— Привет, друзья! — раздался позади нас знакомый голос. — Уже читаете? Клопа, конечно, не подождали... Ну еще бы, существо низшей организации, насекомое, так сказать, «а паразиты никогда...»

— Помолчи, Говорун, — сказал Спиридон. — Садись и слушай. Давай дальше, Саша.

Клоп, обиженно ворча, втиснулся между мной и Федором, и я продолжал:

— «У берегов Ие обитает животное, похожее на большого тако, большого юрибоси и большого ибогани. В ясную погоду лежит, колыхаясь, на волнах и размышляет о пучине вод, откуда извергнуто, и о горах, которые станут пучиной. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей». («Упоминание о тиграх вод».)

Почему-то Спиридон промолчал. Я поискал его глазами и не обнаружил. Не видно было Спиридона и не слышно. Я продолжал.

— «Рассказывают, что во владениях сиятельного военачальника Ямаути Кадзутёё промышляла губки знаменитая в Тосо ныряльщица по имени О-Гин. Лицом она была приятная, телом крепкая, нравом веселая. В тех местах издавна жил старый ика длиной в двадцать шагов. Люди его страшились, она же с ним играла и ласкала его, и он приносил ей отменные губки, которые шли по сто мон. Однако, когда ее просватали, он впал в уныние и пожрал ее. Больше его не видели. Это случилось в тот год, когда сиятельный военачальник Ямаути по настоянию супруги счастливо уплатил десять рё золотом за кровного жеребца». («Предания юга».)

Спиридон опять промолчал, и я его окликнул.

— Да-да, — отозвался он. — Я слушаю.

Голос его показался мне странным, и я спросил, почему давно не слышно комментария.

— Потому что комментариев не будет, — сурово сказал Спиридон.

— Совсем больше не будет? — спросил я.

— Нет, отчего же — совсем? Там посмотрим...

Я продолжал чтение:

— «Параграф восемьдесят семь. Еще господин Цугами утверждает следующее. В Восточных морях видят катацумуридако, пурпурного цвета, с множеством тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в тридцать шагов с острями и гребнями, глаза сгнили, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско, наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. Если приблизиться, хлопнуть в ладоши и крикнуть, от испуга выпускает ядовитый сок и наискось погружается в неведомую глубину, после чего долго не выходит. Среди знающих моряков известно, что он гнусен и вызывает на теле гнойную сыпь». («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей».)

— Любопытно, — сказал Спиридон. — Мне хочется вас поздравить. Письменность — это полезное изобретение. Конечно, с памятью гигантского древнего головоногого ей не сравниться, но вам, людям, она заменяет то, чего вы лишены от природы.

— Ты хочешь сказать, — спросил я, — что все прочитанное было на самом деле?

— Поговорим об этом, когда ты закончишь, — сказал Спиридон.

— Пойдемте лучше в кино, — предложил Говорун. — Устроили здесь читальню... Память, письменность... Слова вставить не дают...

— Дальше, Саша, дальше, — сказал Спиридон.

— «Параграф сто тринадцать. Еще господин Цугами свидетельствует такое. На острове Ёкомэдзима живет дед, дружит с большими ика. Он в изобилии разводит свиней на рыбе и квашеных водорослях. Когда в полнолуние он играет на флейте, ика выходят на берег, и он дает им лучших свиней. Взамен они приносят ему лекарство долголетия из источников в пучине вод». («Свидетельство господина Цугами Ясумицу о поясе Восточных морей».)

— Помню, помню, — сказал Спиридон. — Мы их потом судили... Надо сказать, что господин Цугами Ясумицу — опытный работник. Есть там еще что-нибудь из его свидетельств?

Я просмотрел оставшиеся листочки.

— Нет, больше нет. Может быть, и были, но потеряны.

— Это хорошо, — сказал спрут.

Я стал читать дальше:

— «Пират и злодей Рёдо далее под пыткой показал. Весной седьмого года Кэйтё у берегов Осуми разграбил и потопил корабли с золотом, принадлежащие Симадзу Ёсихиро, на пути из Кагосимы. Его первый советник по имени Дзэнти заклинаниями вызвал из глубины на корабли стаю огромных ика, которые ужасным видом и крючками привели охрану в замешательство. Пират же и злодей Рёдо незаметно подплыл, зарезал храброго Мацунагу Сюнгаку и погубил всех иных верных людей. Подписано: Миногава Сёцу. Подписано: Сога Масамаро». («Хроника Цукуси».)

— Да, — подтвердил Спиридон. — Такие альянсы когда-то допускались. Согласитесь, это вам не какие-нибудь свиньи.

— Пардон, — сказал Говорун, отталкивая меня локтем. — А клопы? Были на кораблях клопы?

Спиридон пожал плечами.

— Очень может быть, — сказал он. — Нас это не интересовало.

— Разумеется, — сказал Говорун, помрачнев. — Как всегда.

Я взял следующий листок.

— «В деревне Хигасимихара на острове Цудзукидзима еще до сей поры поклоняются большому тако, которого именуют „нуси“ — „хозяин“. По обычаю в третье новолуние все девушки и бездетные женщины после захода солнца раздеваются, выходят из деревни и с закрытыми глазами танцуют на отмели. Тако издали глядит и, выбрав, призывает к себе. Она идет, плача и не желая, и печально погружается в темную воду. Остальные возвращаются по домам». («Записки хлопотливого мотылька Ансина Энко».)

— Чепуха какая-то, — сказал Клоп. — Если они танцуют с закрытыми глазами, да еще в новолуние, как же они узнают, кого он выбрал?

Спиридон промолчал.

— Читайте, Саша, — тихонько попросил Федя.

— «При большом тайфуне во второй год Сётоку рыбаки из деревни Гумихара в Идзумо числом семнадцать потеряли лодки и спаслись на одинокой скале посреди моря. Они думали прожить беспечно, питаясь съедобными ракушками, но оказалось, что под скалой обитали демоны в образе тако огромной величины. Днем они жадно глядели из воды, а ночью являлись в сновидениях, сосали мозг и требовали: „Дайте немедленно одного“. Поскольку выхода не было, страх одолел их, они стали тянуть жребий и отдали рыбака по имени Бинскэ. Обрадовавшись, демоны гладили себя руками по лысым головам, как бы говоря: „Вот хорошо!“ День за днем это повторялось, мучения ночью были такие, что иногда без жребия хватили кого придется и бросали в воду, а некоторые бросались сами. Когда осталось пятеро, их подобрал корабль, направлявшийся из Ниигаты в Сакаи. Демоны последовали за

кораблем, потом чары их ослабли, и они скрылись». («Записи необычайных дел во владениях князя Мацудайры».)

— А вы знаете, — сказал Федя, — ведь у нас есть похожая легенда. Будто бы в некоторых расщелинах жили раньше звери Фрух...

— Как? — спросил Клоп.

— Это на нашем языке, — извиняющимся голосом пояснил Федя. — Фрух. Это значит «не увидеть». Их никто никогда не видел, но слышали, как они ползают вниз. И вот по ночам люди начинали мучиться, и многие уходили и сами бросались в расщелины. Тогда все прекращалось. — Федя сделал паузу, потом сказал застенчиво: — Я, конечно, понимаю, это сказка, но если бы это была правда, можно было бы объяснить, почему мы так задержались в развитии. Ведь гибли всегда самые интеллигентные... певцы, или люди, знающие корни, или художники... или кто не мог смотреть, как другие мучаются...

Я заметил, что Спиридон вновь помалкивает. Смешно было предполагать, чтобы этот закоренелый эгоцентрик испытывал стыд за поступки своих соплеменников, и молчание его каким-то странным образом начинало действовать мне на нервы.

— Спиридон, — сказал я. — Где комментарий?

— Потом, потом, — неразборчиво буркнул он. — Продолжай.

— Тут всего один листок остался, — предупредил я.

— Вот и хорошо, — сказал Спиридон. — Вот и прочти его.

Я прочел последний листок.

— «Тогда мятежники с криком устремились вперед. Но его светлость соизволил повелеть дать знак, помчалась конница, с холмов спустились отряды асигару. Тогда мятежники в замешательстве остановили шаги. Асигару дали залп из мушкетов. Тогда мятежники, бросая оружие, копья и щиты, устремились обратно к кораблям. Верный Набэсима Тосикагэ, невзирая на доблесть, не смог бы догнать и схватить их. Тогда его светлость соизволил повелеть дать знак, и флотоводец Юсо выпустил боевых тако. Икусадако подобно буре напали на вражеские корабли, трясли, двигали, раскачивали, ломали. Видя это, мятежники устремились и выразили покорность. Их всех перевязали, нанизав на нитку подобно сушеной хурме, после чего его светлости благоугодно было повелеть разыскать и распять главарей на месте. Всего было распято восемьдесят злодеев, а флотоводец Юсо удостоился светлейшей похвалы». («Хроника Цукуси».)

Я сложил листочки и завязал папку. Все мы ждали, что скажет Спиридон. А Спиридон успокоил воду в бассейне, сделал себя темно-красным и растекся по поверхности, как масляная лужа.

— Большинство из этих документов, — заявил он, — относится, насколько я могу судить, к середине нынешнего тысячелетия, когда многие из нас, уцелевшие после мора, были еще очень молоды и не понимали, что сложное сложно. Отсюда попытки альянсов, отсюда подчиненность... Черт возьми, все мы любили сладкое мясо!.. Должен признаться, мне было неприятно слушать эти хроники, как всякому умному существу неприятно слушать воспоминания посторонних о его детстве. Но кое-кому из наших это стоило бы почитать — в назидание. И я им прочту... Но вас, конечно, интересует, есть ли во всем этом правда, сколько ее и вся ли это правда. Правда этих записок вот: мы всегда стремились уничтожить все, что попадает в море; некоторые из нас продавали право первородства за сладкую свинину; и некоторым из нас, самым молодым, нравилось, когда невежественные рыбаки их обожествляли. Вот что здесь правда. Остальное — сплошная тушь и воронятина. Всю же правду о гигантских головоногих не вместят никакие записки.

— Мне понравилось выражение «сосали мозг», — задумчиво сообщил Говорун. — Что бы это могло означать?

— Просто метафора, — холодно сказал Спиридон. — Почему ты не спрашиваешь, что означает выражение «глаза сгнили»?

— Потому что мне это неинтересно, — заносчиво ответил Говорун.

Я заметил, что Федя с сомнением качает головой.

— Нет, тут что-то другое, — проговорил он. — Тут что-то недоброе. А Спиридон просто не хочет рассказывать.

У меня было такое же ощущение, но мне не хотелось это обсуждать. Это было что-то неприятное и, в конце концов, не столь уж существенное. Не хотелось мазаться в грязи ради праздного любопытства. К тому же интимность обстановки нарушил вдруг фотограф Найсморк.

Сложившись пополам, он вдвинулся в павильон, осмотрел нас дикими глазами и хрипло осведомился, который здесь будет Спиридон, спрут, древний и головоногий. Не дожидаясь ответа, он пошел вокруг бассейна, озираясь и бормоча, что свет здесь хороший, толковый человек ставил, понимающий, только смердит вот, как на помойке у этого... как его... у столовой. Узнав, который здесь Спиридон, Найсморк пришел в профессиональный восторг. Он хлопал себя по ляжкам, заглядывал в видеоискатель, вскрикивал от удовольствия и снова принимался хлопать и заглядывать. Он восклицал, что вот это вот — фас, что этот фас — всем фасам фас, что такой фас он видел всего однажды, у этого... как его... да вот у вас же, гражданин, в прошлом году, когда вы только прибыли...

Он потратил на Спиридонов фас полпенки. Однако же, когда настала очередь профиля, он разочаровался. Он горько сообщил, что профиля нет, то есть, конечно, кое-что виднеется, но больно мало, надо полагать, что все ушло в фас согласно закону сохранения суммы изображений. Нацелившись на то, что приходилось ему считать Спиридоновым профилем, он попросил Спиридона сохранять серьезность, расслабиться и не улыбаться, сделал два снимка, взял у меня сигарету и исчез так же внезапно, как и появился.

— Меня он тоже давеча снимал, — ревниво сообщил Клоп. — При помощи макронасадки, между прочим. Я думаю, что это в связи с моим заявлением.

— Вряд ли, — сказал Федя. — Это потому, что коменданта запугали, и он потребовал, чтобы Найсморк всю Колонию переснял по второму разу. На всякий случай.

— Сплетня! — сказал Клоп. — Просто я подал заявление, чтобы Тройка приняла меня завтра вне всякой очереди и обсудила одно мое предложение.

— Какое? — спросил я.

— А вот это уже никого не касается, — высокомерно заявил Клоп. — Завтра услышите. Я полагаю, товарищ Амперян будет завтра присутствовать на утреннем заседании?

— Будет, — сказал я.

— Превосходно, — сказал Клоп. — Я очень уважаю товарища Амперяна, а завтрашнее заседание обещает стать историческим.

— Сомневаюсь, — сказал лениво Спиридон. — Сомневаюсь я, чтобы с Говоруном могло быть связано что-нибудь историческое. Тебя уже один раз вызывали в прошлом году, ничего исторического не обнаружили и в решении записали, помнится: «Клоп говорящий, необъясненного явления собой не представляет, в компетенцию Тройки не входит, лишит пищевого довольствия и койки в общежитии...»

— Это неправда! — крикнул Говорун. — Это дурак Хлебовводов предлагал. А Лавр Федотович не утвердил! Я был, есть и остаюсь необъясненным явлением! Что ты в этом смыслишь? Или, может быть, ты способен объяснить взлеты моей мысли, мои порывы, мою печаль при восходе ненавистного солнца? Если хочешь знать, будь я обыкновенным клопом...

— Будь ты обыкновенным клопом, — с усмешкой сказал Спиридон, — тебя бы уже давным-давно раздавили!

— Молчи, людоед! — взвизгнул Говорун, хватаясь за сердце. — Трясина ты холодная, бессовестная! Тысячу лет прожил, ума не нажил! Хам! По морде тебе давно не давали!

— Товарищи, товарищи! — сказал Федя, удерживая за талию Клопа, который, размахивая кулаками, рвался в бассейн. — Говорун, вы же там утонете... Спиридон, я вас прошу, извинитесь... Вы действительно были бестактны! Вы же знаете, как Говорун относится к таким намекам...

Спиридон возразил, что он только констатировал очевидный факт и что он готов дать

удовлетворение любому, кто будет утверждать, будто он сказал неправду. Говорун лягался, брызгал слюной и орал. Тогда я разозлился и потребовал, чтобы они немедленно прекратили склоку, иначе я упеку Говоруна на двое суток в спичечный коробок, а в бассейн накидаю марганцовки. Это подействовало. Буяны, конечно, утихомирились не сразу и некоторое время продолжали оскорблять друг друга, но в конце концов Спиридон процедил сквозь зубы что-то вроде «Виноват, переборщил», Говорун всплакнул, сказал, что в последнее время он что-то совсем изнервничался, и они пожали друг другу руки в знак примирения.

— Ну вот и прекрасно, — сказал просиявший Федя. — А теперь, я думаю, мы можем пойти пройтись. Все вместе. Правда?

Выяснилось, что все «за». Федя тут же сбежал за тачкой и напихал в нее мокрого сена. Мы с Говоруном поднатужились, выволокли Спиридона из бассейна и свалили его в сено, а сверху прикрыли мокрым мешком. Спиридон смущенно кряхтел и торопливо извинялся, когда ему наступали на щупальца. В тачке он устроился поудобнее, прикинул, каково ему будет озирать окрестности, и сообщил, что вполне готов.

В дверях павильона нас встретил сторож, свояк коменданта товарища Зубо. Он направлялся к бассейну, волоча за собой по земле дохлую собаку. Лицо у него было красное до багровости, он пошатывался, пахло от него водкой и луком.

— Спиридон Спиридонович! — прохрипел он. — Куда же это вы не евши? Комендант заругается!

Спиридон сунул ему в руку небольшую жемчужину.

— Это тебе за беспокойство, голубчик, — сказал он. — А ужин занеси и оставь там где-нибудь, я вернусь и поужинаю.

— Это можно, — прохрипел сторож, разглядывая жемчужину, покачиваясь и непроизвольно приседая, чтобы сохранить равновесие. — Это пожалуйста... Оч-чень мы вами бла-адарны, Спиридон Спиридонович...

По дороге к набережной мы встретили Эдика, и я познакомил его со Спиридоном. Вежливый Эдик сказал спруту несколько комплиментов, и они разговорились было о необычайных размерах гигантских мегатойтисов и о прирожденной властности их взора, но тут ревнивый Говорун подхватил Эдика под руку и с криком: «Пardon, товарищ Амперян! Одну минуточку, небольшая консультация!..» — увлек его вперед. Тем не менее Спиридон развеселился, овладел общим разговором и рассказал несколько забавных историй из жизни спрутов. Очень смешной получилась у него история о том, как несколько молодых, неопытных мегатойтисов выследили подводную лодку и сговорились на нее напасть, приняв за большого кашалота; как они долго ползали по железной палубе и все подбадривали друг друга мужественными возгласами: «За дыхало его, братва! За дыхало!» Мы много смеялись над этой мастерски рассказанной историей, пока не выяснилось, что смеемся мы все по разным причинам. Я смеялся над глупыми мегатойтисами, Эдик — тоже; Спиридон хохотал, представляя себе, как перепугалась команда подводной лодки; Федя смеялся от радости, что всем весело и никто ни с кем не ссорится (Федя истории не понял, он решил, что подводная лодка — это просто затонувшая рыбачья шлюпка); Говорун же смеялся потому, что его осенила гениальная идея, не имеющая никакого отношения к рассказу. Он отказался сообщить нам эту идею, но я понял, в чем дело: полчаса спустя, когда мы шли по главной улице и возле гостиницы задержались, чтобы проститься с утомившимся Эдиком и заодно полить Спиридона из шланга, Говорун безразличным тоном попросил меня напомнить, в каком номере проживает этот дурак Хлебовводов. Я напомнил, и Клоп тотчас же распрощался, сказавши, что у него, к сожалению, неотложное свидание.

Мы еще немного погуляли втроем по Колонии, и я рассказывал Феде и Спиридону об устройстве Вселенной. Попутно выяснилось, что Спиридон простым глазом видит Красное Пятно на Юпитере и кольца Сатурна. Застенчивый Кузька все время шастал в кустах то справа, то слева от нас, напоминая о себе слабым кваканьем; мы звали его, обещая лакомства и дружбу, но он так и не решился приблизиться.

Возле склада битой летающей посуды мы неожиданно наткнулись на Романа с

товарищем Ириной. Левой рукой Роман обнимал пышные плечи любимой дочери товарища Голого, а правой рукой вдохновенно указывал в звездную бездну — должно быть, тоже объяснял устройство Вселенной. Мы поспешно свернули на боковую аллею и повезли Спиридона в бассейн. Время было уже позднее, город засыпал, и только далеко-далеко играла гармошка, и чистые девичьи голоса сообщали:

Ухажеру моему
Я говорю трехглазому:
Нам поцалуи ни к чему —
Мы братия по разуму!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он препирается в приемной с комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать Клопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо.

— Но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился Говорун. — Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться! Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей... Пусть сделает три шага навстречу и обнажит голову!

— О ком ты говоришь? — спросил я, опешив.

— Как это о ком? Об этом, вашем... кто там у вас главный? Вунюков?

— Балда! — прошипел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? Иди немедленно! В твоём распоряжении тридцать секунд!

И Говорун сдался. Бормоча что-то насчет нарушения всех и всяческих правил, он вошел в комнату заседаний и нахально, ни с кем не поздоровавшись, развалился на демонстрационном столе. Лавр Федотович с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами тотчас же взял бинокль и стал Клопа рассматривать. Хлебовводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл:

— Ну чего нам с ним говорить? Ведь все уже говорено... Он же нам только голову морочит...

— Минуточку, — сказал Фарфуркис, бодрый и розовый, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к Клопу. — Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваше, как вы пишете, чрезвычайно важное заявление. Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете нам заявить? Мы вас слушаем.

Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил.

— История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордано Бруно. Оголтелые фанатики травили Чарлза Дарвина, Галилео Галилея и Николая Вавилова... История клопов также сохранила упоминания о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятна неслыханная мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете окончили свои дни Император, создатель теории групп крови; Рексофоб, решивший проблему плодovitости; Пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могли не наложить и действительно наложили свой роковой отпечаток на взаимоотношения между ними. Втуне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедовавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущее клопиного племени не на

исконном пути паразитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я», но жадные, вечно голодные клопьиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя: «Пили, пьем и будем пить». — Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге: — Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного: признания. Впервые клоп нашел общий язык с человеком. Впервые клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутье истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недостижимую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идти на поводу у невежества и взаимоотношенности, отвергать очевидное и отказываться признать свершившееся чудо? Я, Клоп Говорун, единственный говорящий клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов: опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми и ясными глазами взгляните в глаза великой истине: Клоп Говорун есть личность исключительная, явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!

Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние кишечно-желудочной прострации, в котором пребывала б́льшая и лучшая часть Тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима Выбегаллы.

Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел, Фарфуркис не знал, на что решиться, а проснувшийся полковник, которому, видимо, приснилось что-то страшное, трусливо поглядывал на Клопа, прикрывшись председательским бюваром. Я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебовводов произнес:

— «Пили, пьем и будем пить...» Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А? — Он дико огляделся. — Да я же его сейчас к ногтю!.. Ночью от них спасу нет, а теперь и днем? Мучители! — И он принялся яростно чесаться.

Говорун несколько побледнел, однако продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка.

— Кровопийцы! — прохрипел Хлебовводов, вскочил и ринулся вперед.

Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку — тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но Хлебовводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер со лба холодный пот и обессиленно опустил усы.

— Гррм, — как-то жалобно проговорил Лавр Федотович. — Кто еще просит слова?

— Позвольте мне, — сказал Фарфуркис, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особое впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. Я готов также оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания о собственной особе. Но его предложение, его идея о союзе... Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его как преднамеренное! И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна и с горечью убедился, что там отсутствует совершенно, на мой взгляд, необходимое частное определение по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам

надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Говоруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть с праздношатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни предосудительными путями, каковые вполне можно квалифицировать как преступные...

В эту минуту на пороге вновь появился измученный Хлебовводов. Проходя мимо Говоруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав: «У-у, собака бесхвостая, шестиногая!..» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. «Саша, — шептал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь...» Я лихорадочно искал выход, а Фарфуркис тем временем продолжал:

— Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой, — не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по этому делу, однако, как человек по натуре не злой, хотя и принципиальный, я позволяю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении. Но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго!

— Задавить его, паразита! — прохрипел Хлебовводов. — Вот я его сейчас... спичкой... — Он стал хлопать себя по карманам.

На Говоруна лица не было. На Эдике тоже. А я все никак не мог найти выхода из возникшего трагического тупика.

— Нет-нет, товарищ Хлебовводов, — брезгливо морщась, проговорил Фарфуркис. — Я против незаконных действий. Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции...

При этих словах дурак Говорун просиял. О, тщеславие!..

— Далее, — продолжал Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и, следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт таким примерно образом: акт о списании Клопа говорящего, именуемого ниже Говоруном...

— Правильно! — прохрипел Хлебовводов. — Печатью его!..

— Это произвол! — слабо пискнул Говорун.

— Минуточку! — вскинулся Фарфуркис. — Что значит — произвол? Мы списываем вас согласно параграфу семьдесят четвертому приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится...

— Все равно произвол! — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы!..

И тут меня наконец осенило.

— Позвольте, — сказал я. — Лавр Федотович! Вмешайтесь, я прошу вас! Это же разбазаривание кадров!

— Гррм, — еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно.

— Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав! Надо меньше придавать значения форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион для благородных девиц? Или курсы повышения квалификации?.. Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства. Но разве это означает, что мы должны списать его за ненужностью? Да вы

что, товарищ Фарфуркис? Или вы, быть может, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? «Мне не нравится говорящий клоп, давайте спишем говорящего клопа...» А вы, товарищ Хлебовводов? Да, я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Я глубоко сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю: может быть, вы уже нашли средство борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц?..

— Вот я и говорю, — сказал Хлебовводов. — Задавить его без разговоров... А то акты какие-то...

— Не-е-ет, товарищ Хлебовводов! Не позволим! Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо-административные вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму! Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доморощенный клопный талант повернул клопов-вегетарианцев к их нынешнему отвратительному модус вивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом, с помощью коего мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию? Я прошу Комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать.

Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец. Говорун стоял на коленях и, казалось, горячо молился. Что касается Тройки, то, пораженная моим красноречием, она безмолвствовала. Фарфуркис глядел на меня с радостным изумлением. Видно было, что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом, неслыханном мероприятии. Уже виделось ему, как он составляет обширную, детальнейшую инструкцию, уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения, уже в воображении своем он консультировал Говоруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета пропаганды вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватит также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку...

— Травяные клопы тоже, я вам скажу, не сахар... — проворчал консервативный Хлебовводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям.

Я выразительно пожал плечами.

— Товарищ Хлебовводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед.

— Ничего не узкоместными, — возразил Хлебовводов. — Очень даже широкими... этими... как их... Воняют же! Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться... на стрикулиста... Несерьезный он какой-то... и заслуг за ним никаких не видно...

— Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения этого вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом? Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного...

Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, бастион несколько покосился, но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный.

— Народ... — произнес бастион, болезненно заводя глаза. — Народ не любит

замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор! Народу нужны поля и реки. Народу нужны ветер и солнце...

— И луна! — добавил Хлебовводов, преданно глядя на бастион снизу вверх.

— И луна, — подтвердил Лавр Федотович. — Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу. Народу нужна работа на открытом воздухе. Народу душно без открытого воздуха...

Мы еще ничего не понимали, даже Хлебовводов еще терялся в догадках, а пронизательный Фарфуркис уже собирал бумаги, упаковывал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно-деловито осведомился:

— Народ любит ходить пешком или ездить на машине?

— Народ... — провозгласил Лавр Федотович, — народ предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, я предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам. Товарищ Зубо, обеспечьте. — С этими словами Лавр Федотович грузно опустился в кресло.

Все засуетились. Комендант бросился вызывать машину. Хлебовводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил Говоруна за шиворот и коленом вышиб его вон. Говорун не сопротивлялся: пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Он даже говорить не мог и только, что-то бессвязно бормоча, пытался целовать мне руки.

Мы с Эдиком спустились на улицу. Эдик глядел на меня с восхищением и говорил, что у меня настоящий административный талант, что он, Эдик, так бы не мог, что есть все-таки, значит, методы борьбы достаточно эффективные и в то же время достаточно далекие от уголовщины. Я в ответ втолковывал ему, что все это не так просто, что всем талантам моим грош цена: будь здесь Выбегалло и не страдай так Лавр Федотович от последствий гастрономической дискуссии, Клопа бы нашего обязательно припечатали. Счастливый случай всех нас спас.

Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебовводов, Фарфуркис и комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. А машина-то пятиместная, озабоченно сказал Эдик. Нас не возьмут. Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. На выездной сессии будут рассматриваться дела, не имеющие к нам никакого отношения, а мы пока сможем пойти и выкупаться. Эдик сказал, что он не пойдет купаться. Он невидимо последует за автомобилем и проведет сегодня еще один сеанс позитивной реморализации. Нельзя терять надежду, сказал он. Пока имеешь дело с человеческими существами, терять надежду нельзя.

Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились Фарфуркис с Хлебовводовым. Хлебовводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине деловым человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствие научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. «Затруднение? — осведомился Лавр Федотович слегка окрепшим голосом. — Товарищ Фарфуркис, устраните». Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять. Я не успел и глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве врио научного консультанта, шофер был отпущен, а я оказался на его месте. «Давай, давай, — шептал мне на ухо невидимый Эдик. — Ты мне еще, может быть, поможешь...» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело — сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение. Ребятишки откровенно глазели. Между тем неугомонный Фарфуркис вспомнил про полковника, забытого наверху, и вновь сцепился с Хлебовводовым.

— Да зачем нам этот старый хрен? — стонал Хлебовводов.

— Неудобно, неудобно, — говорил Фарфуркис. — Комендант, сбегайте!

— Да куда мы его посадим? — с надрывом спрашивал Хлебовводов. — В багажник, что ли, мы его посадим?

— Ничего, ничего, как-нибудь разместимся.

Я решил прекратить эту постыдную сцену.

— Напоминаю, — сказал я строго. — Согласно инструкции завода-изготовителя — машина пятиместная. Нарушения инструкции я не потерплю. Я из-за вашего полковника прокол в техталон зарабатывать не намерен.

Комендант, уже высунувший было ногу наружу, втянул ее обратно.

— Ехать бы... — умирал Хлебовводов. — С ветерком бы...

— Гррм, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Не дожидаясь задержавшихся. Другие предложения есть?.. Шофер, поезжайте.

Я завел двигатель и стал осторожно разворачивать машину, пробираясь сквозь толпу ребятишек. Лавр Федотович совсем приободрился. Ласковое теплое солнце и свежий налетающий ветерок сотворили с ним маленькое чудо. Он даже впал в юмористическое настроение и позволил себе сказать каламбур про полковника: «Спал он, спал, а теперь вот все проспал». Я наконец развернулся, и мы покатали по улицам Нового Китежа.

Первое время Фарфуркис страшно надоедал мне советами. То он советовал мне остановиться — там, где остановка была запрещена; то он советовал не гнать и помнить о ценности жизни Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я ехал быстрее, потому что встречный ветер недостаточно энергично овеивает чело Лавра Федотовича; то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет Тройки...

Однако, когда мы миновали белые китежградские черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, а вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышко, всем было хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня «Герцеговину Флор». Хлебовводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню, комендант подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту Китежграда с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант: озеро — болото — холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра; на болоте — рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье; а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место.

Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, более того, он вообще всегда был высокого мнения о моих способностях. Ему будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии, он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, нет у нее стремления бороться больше, бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной, первоочередной задачей всей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется не много шансов стать настоящей борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы сделаться настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба...

Плезиозавра мы увидели еще издали — нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в двух километрах от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебовводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебовводова и сообщил, что в озере — вода, что заседание выездной сессии Тройки он объявляет

открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо.

Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я и вовсе снял рубашку, чтобы не терять случая подзагореть. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, никто его не слушал. Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно бы прикидывая, нужно ли оно народу, а Хлебовводов вполголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра музкомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, на дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным.

Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводов сделал ценное замечание: ящур — опасная болезнь скота, заявил он, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебовводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете, — говорил он. — Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился, я же продолжал спорить, пока Хлебовводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся, — возразил Хлебовводов. — Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».

— Грм, — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов? Вызовите дело, товарищ Зубо.

Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лизка! Лизка!» Но, поскольку плезиозавр, по-видимому, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся размахивать им, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лизка не подавала никаких признаков жизни. «Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Окуней наглоталась и спит...» Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, — нечего аккумуляторы подсаживать, — дело казалось мне безнадежным.

— Товарищ Зубо, — не опуская бинокля, произнес Лавр Федотович. — Почему вызванное дело не реагирует?

Комендант побледнел и не нашелся, что сказать.

— Хромает у вас в хозяйстве дисциплинка, — подал голос Хлебовводов. — Подраспустили подчиненных.

Комендант рванул на себе рубашку и разинул безмолвный рот.

— Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать.

Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Хлебовводов и Фарфуркис висели над ним, сверкая оскаленными клыками, а Лавр Федотович уже давно начал медленно поворачивать голову в его сторону. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но это ему все равно. «Ничего, — кровожадно сказал Хлебовводов. — На дутом авторитете выплывет».

Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет, сказал я, и есть ли необходимость в том, чтобы Тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах. Кроме того, напомнил я, в случае утонутя коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает нам, что тогда плыть придется либо Фарфуркису, либо Хлебовводову.

Фарфуркис возразил на это, что вызов дела является функцией и прерогативой

представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функцией научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с большой головы на здоровую. Я заявил в ответ, что здесь и сейчас я выступаю не столько в качестве научного консультанта, сколько в качестве водителя казенного автомобиля, от коего не имею права удаляться далее чем на двадцать шагов... «Вам следовало бы помнить приложение к Правилам движения по улицам и дорогам, — заметил я укоризненно, ничем особенно не рискуя. — А именно — параграф двадцать первый такового».

Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного крейсера, поворачивается в нашу сторону голова Лавра Федотовича. Все мы были на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа.

— Господом нашим... — не выдержал комендант. Он уже стоял на коленях в одном белье. — Спасителем Иисусом Христом!.. Не боюсь я плыть и утонуть не боюсь!.. Но ей-то что, Лизке-то... У ей хайло, что твои ворота!.. Глотка у ей, что твое метро! Она не меня, она корову может сглотнуть, как семечку!.. Спросонья-то...

— В конце концов, — несколько нервничая, произнес Фарфуркис, — зачем нам ее звать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать...

— Списать ее, заразу! — радостно подхватил Хлебовводов. — Корову она может сглотнуть, подумаешь! Тоже мне, сенсация! Корову и я могу сглотнуть, а ты вот от этой коровы добейся... пятнадцать поросят, понимаешь, добейся, вот это работа!

Лавр Федотович наконец развернул главный калибр. Однако вместо дикой орды враждующих индивидуумов, вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет Тройки пауков в банке он обнаружил перед собою в перекрестии прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и делового рвения сотрудников, горящих единым стремлением: списать заразу Лизку и тут же перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало. Орудийная башня развернулась в обратном направлении, и чудовищные жерла отыскивали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика.

— Народ... — донеслось из боевой рубки. — Народ смотрит вдаль. Эти плезиозавры народу...

— Не нужны! — выпалил Хлебовводов из малого калибра. И промазал.

Выяснилось, что эти плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены Тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной научной интеллигенции обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено позже — в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не было, вопросов к докладчику — тем более. На том и порешили.

— Перейдем к следующему вопросу, — объявил Лавр Федотович, и действительные члены Тройки, толкаясь и выдирая друг у друга клочья шерсти, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча: «Я же тебе это припомню... Лучшие же куски отдавал... Как дочь родную... Скотина водоплавающая...»

Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, ведущей вдоль берега озера. Дорога была страшенькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе тут бы нам был и конец. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и к превращению в две поросшие осокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого, дряблого Фарфуркиса проку будет не много. Хлебовводов выглядел мужиком жилистым, но непонятно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр же Федотович вряд ли даже соизволит вылезти из машины. Так что действовать в случае чего

придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи девятисоткилограммовую машину с грузным Вунюковым на борту.

Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная буколическая лужа типа миргородской, всеми изъезженная и ко всему притерпевшаяся. Это не была также и мутная глинистая урбанистическая лужа, лениво и злорадно расплывшаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, злое в своем спокойствии мрачное образование, небрежно, но основательно расположившееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, — загадочное, словно глаз Сфинкса, коварное, словно царица Тамара, наводящее на кошмарные мысли о бездне, набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал:

— Все, приехали.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, доложите дело.

В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами.

— Дело номер тридцать восьмое, — прочитал он. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Название: Коровье Вязло...

— Минуточку! — прервал его Фарфуркис встревоженно. — Слушайте!

Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя, попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары и гектары топкой грязи, поросшие редкой осокой, покрытые слежавшимися слоями прелых листьев, с торчащими гнилыми сучьями, и все это под сенью болезненно тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре — отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных.

— Лавр Федотович! — пролепетал Хлебовводов. — Комары!

— Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. — Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народ не понимает...

Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебовводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное: огромный рыжий пират четко, как на смотре, пал Лавру Федотовичу на чело и с ходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил... И началось.

Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания улан и лейб-гусар предавалась там взаимооскорблению действием.

К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие олады, щеки — в караваи, а на лбу взопли многочисленные рога. «Вперед! — кричали на меня со всех сторон. — Назад!.. Газу!.. Да подтолкните же его кто-нибудь!.. Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, ключья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала, а наперерез с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не

мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться.

Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением, я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что Тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта, ему предъявили счет за каждую выпитую из членов Тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым: две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание: «Господом богом... Иисусом, спасителем нашим...»

— Товарищ Зубо, — произнес наконец Лавр Федотович, — почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать.

Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.

— Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович.

Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел:

— Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки.

— Ну? — сказал Хлебовводов. — Дальше что?

— Дальше ничего. Все.

— Как так — все? — плачуще возопил Хлебовводов. — Убили меня! Зарезали! И для ради чего? Звуки ахающие... Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня — как я теперь в гостинице появлюсь? Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгною так, что от тебя ни аханья, ни уханья не останется!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, и Хлебовводов замолчал. Глаза его выкатились, он с видом тихого идиота медленно обводил дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу.

— Есть предложение, — продолжал Лавр Федотович. — Ввиду представления собой дела номер тридцать восемь под названием Коровье Вязло исключительной опасности для народа подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно: признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно, реально не существующим, и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт.

Хлебовводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой портфель и положил его плашмя к себе на колени.

— Акт! — воззвал он.

На портфель лег акт о высшей мере.

— Подписи!!

На акт пали необходимые подписи.

— ПЕЧАТЬ!!!

Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская затхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла Большая Круглая Печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу, автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал:

— Коменданту Колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в Колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно, реально не существующего болота Коровье Вязло, а также за необеспечение безопасности работы Тройки объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложения?

Слегка повредившийся от тревожений Хлебовводов внес предложение приговорить

коменданта Зубо к расстрелу с конфискацией имущества и с поражением родственников в правах на двенадцать лет. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что такой меры социальной защиты Тройка применить не вправе, что у него, Фарфуркиса, есть сильное желание подать на коменданта в суд, но что в конечном счете он, Фарфуркис, полностью поддерживает Лавра Федотовича.

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?

— Заколдованное место, — убито сказал комендант. — Недалеко отсюда, километров пять.

— Комары? — осведомился Лавр Федотович.

— Христом богом... — сказал комендант. — Спасителем нашим... Нету их там. Муравьи разве что...

— Хорошо, — констатировал Лавр Федотович. — Осы? Пчелы? — продолжал он, обнаруживая высокую прозорливость и неусыпную заботу о народе.

— Ни боже мой, — сказал комендант искренне.

Лавр Федотович долго молчал.

— Бешеные быки? — спросил он наконец.

Комендант заверил его, что ни о каких быках в этих окрестностях не может быть и речи.

— А волки? — спросил Хлебовводов подозрительно.

Но в окрестностях не было и волков, а также медведей, о которых вовремя вспомнил Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте был Китежград, была река Китежа, было озеро Звериное, были какие-то Лопухи, болота же Коровье Вязло, которое распространялось раньше между озером Звериным и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старинных картах на месте Антарктики.

Мне было дано указание продолжать движение, и я продолжил было, но тут Хлебовводов заорал: «А змеи? Там у тебя змеи, небось!» Но не было у коменданта там и змей, и мы поехали. Мы миновали овсы, пробрались сквозь стадо коров, обогнули рощу Круглую, форсировали ручей Студеный и через полчаса оказались перед местом заколдованным.

Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, раньше здесь кругом стоял сплошной лес, тянувшийся до самого Китежграда, но его свели, и осталось только то, что было на холме. На самой вершине виднелась почерневшая избушка; по склону перед нами бродили две коровы с теленком под охраной большой понурой собаки. Возле крыльца копались в земле куры, а на крыше стояла коза.

— Что же вы остановились? — спросил меня Фарфуркис. — Надо же подъехать, не пешком же нам...

— И молоко у них, по всему видать, есть... — добавил Хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молочка выпить. Ехай, ехай, чего стали!

Я попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения мои были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молочка, такими стенаниями Фарфуркиса: «Сметана! С погребца!», что я не стал спорить. Мне и самому было любопытно еще раз проехать по этой дороге.

Я включил двигатель, и машина весело покатила к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей травке. Лавр Федотович неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебовводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что

комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей росе и жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебовводов спохватился.

— Что же это получается? — сказал он. — Едем-едем, а холм где стоял, там и стоит... Поднажмите, товарищ водитель, что это вы, браток?

— Не доехать нам до холма, — кротко сказал комендант. — Он же заколдованный, не доехать до него и не дойти... Только бензин весь даром сожжем.

После этого все замолчали, и на спидометре намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на метр. Коровы, привлеченные шумом мотора, сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебовводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. «Вредительство», — говорил Хлебовводов. «Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но — злостный». Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только: «...на колодках... ну да, колеса крутятся, а машина стоит... Комендант?.. Может быть, и врио консультанта... бензин... подрыв экономики... потом машину спишут с большим пробегом, а она новенькая...» Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца и ужасным, стремительно удаляющимся голосом заорал Хлебовводов. Я изо всех сил ударил по тормозам. Лавр Федотович, продолжая движение, с деревянным стуком, не меняя осанки, влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебовводова, который все еще катился вслед за нами, беспорядочно размахивая конечностями.

— Затруднение? — осведомился Лавр Федотович обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ Хлебовводов, устраните.

Мы устраняли затруднение довольно долго. Пришлось сходить за Хлебовводовым, который лежал метрах в пятидесяти позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный. Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре: будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решил выйти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально поражен тем, что это ему не удалось. Мы с комендантом приволокли его к машине, положили у заднего колеса так, чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который в панике искал и никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди.

Затруднение было полностью устранено, повреждения Хлебовводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к нашим прямым обязанностям.

— Товарищ Зубо, — произнес он. — Доложите дело.

У дела двадцать девятого фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование «Заколдун». Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности Заколдун был русский, образования не имел, иностранных языков не ведал, профессия у него была — холм, а место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей Заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась Мать Сыра Земля, адрес же постоянного местожительства определялся все теми же координатами и с той же точностью. Анкета произвела на Хлебовводова благоприятнейшее впечатление. Хлебовводов сказал, что будь он сейчас, как некогда, председателем правления Всероссийского хорового общества, он бы такого товарища утвердил бы в любой должности с закрытыми глазами. Что же касается краткой сущности необъясненности, то Выбегалло, не мудрствуя лукаво, выразил ее предельно кратко: «Во-первых, не проехать, во-вторых, не пройти».

Комендант сиял. Дело уверенно шло на рационализацию. Хлебовводов был доволен анкетой. Фарфуркис восхищался необъясненностью, с одной стороны очевидной, а с другой — ничем не угрожающей народу, да и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки.

Но тут дверь избушки растворилась, и на крыльцо выбрался, опираясь на палочку, старый человек в валенках и длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на порожке, посмотрел из-под руки на солнце, махнул рукой на козу, чтобы слезла с крыши, и уселся на ступеньку.

— Свидетель! — сказал Фарфуркис. — А не вызвать ли нам свидетеля?

— Так что ж — свидетель... — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего неясно? Ежели вопросы есть, то я могу...

— Нет! — сказал Фарфуркис, с подозрением глядя на него. — Нет, зачем же вы? Вы вон где живете, а он — здешний.

— Вызвать, вызвать! — сказал Хлебовводов. — Пусть молока принесет.

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зубо, вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять.

— Эх! — воскликнул комендант, ударивши соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении! Не выйти ему оттуда! Как он там застрял, так он там и остался...

И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами Тройки, предчувствуя новые неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам китежградское предание о заколдунском леснике Феофиле. Как жил он себе и не тужил в своей сторожке с женой, — молодой тогда еще совсем был, здоровенный; как ударила однажды в холм зеленая молния, и начались страшные происшествия. Жена Феофилова как раз в город уходила; вернулась — не может взойти на холм, до дому добраться. Она опять в город, побежала в слезах к попу. Поп набрал святой воды в ведро и пошел холм кропить. Идет он, идет, не дойти до холма, да и только. Брызгал он этой святой водой направо, налево, молитвы возносил — не помогает. А поп оказался в вере слаб, взял и разуверился. Расстригся, ренегат, и пошел в атеисты. Это уже бунт. Приехал урядник, видит — на холме Феофил. Спервоначалу грозил Феофилу, звал, ругался по-черному, потом принялся Феофила шкаликом приманивать. Мол, увидит шкалик Феофил и обязательно к нему прорвется, а тут уж его можно будет хватать и вязать. И верно, рвался Феофил. Двое суток к шкалику с холма без передышки бежал — нет, не добежать. Так он там и остался. Он — там, жена — здесь. Сначала к нему приходила, кричали они друг другу, потом надоело ей, перестала ходить. Феофил сначала тоже очень оттуда рвался. Говорят, видели, как он свинью зарезал, солониной запасся, чистое белье увязал и пошел с холма путешествовать. Хлеба, говорят, взял на дорогу два каравая, сухарей. Долго шел с холма, полгорода сбежалось глядеть, как он идет. И все по низу холма, все по низу. Смех и грех. Ну, потом, конечно, успокоился, смирился, жить-то надо. Так с тех пор и живет. Ничего, привык.

Выслушав эту страшную историю, Хлебовводов вдруг сделал открытие: советских документов у Феофила нет, переписи он избежал, в выборах участия не принимал, воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что остался кулаком-мироедом.

— Две коровы у него, — говорил Хлебовводов, — и теленок вот. Коза. А налогов не платит... — Глаза его вдруг расширились. — Раз теленок есть, значит и бык у него где-то там спрятан!

— Есть бык, это точно, — уныло признался комендант. — Он у него, верно, на той стороне сейчас пасется.

— Ну, браток, и порядочки у тебя, — зловеще сказал Хлебовводов. — Знал я, чувствовал, что хапуга ты и очковтиратель, но такого даже от тебя не ожидал. Чтобы ты подкулачник, чтобы ты кулака покрывали, мироеда...

Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл:

— Святой девой Марией... Двенадцатью первоапостолами... На евангелии клянусь и на конституции...

— Внимание! — прошептал невидимый Эдик.

Лесник Феофил вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязноватая коза следовала за ним как собачонка. Феофил подошел к нам, опустился в вольтеровское кресло, задумчиво подпер подбородок костлявой коричневой рукой, а коза села рядом и уставилась на нас желтыми бесовскими глазами.

— Люди как люди, — сказал Феофил. — Удивительно...

Коза отбросила за спину тяжелую золотую косу, обвела нас взглядом и выбрала Хлебовводова.

— Это вот Хлебовводов, — сказала она. — Рудольф Архипович. Родился в девятьсот десятом в Хохломе, имя родители почерпнули из великосветского романа, по образованию — школьник седьмого класса, происхождения родителей стыдится, иностранных языков изучал много, но не знает ни одного...

— Иес! — подтвердил Хлебовводов, стыдливо хихикая. — Натюрлих-яволь!..

— ...профессии как таковой не имеет — руководитель. В настоящее время — руководитель-общественник. За границей был: в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии... и так далее, всего в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов.

— Так, — сказал Феофил. — Можете что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович?

— Никак нет! — сказал Хлебовводов весело. — Разве что вот... орто... доро... орто-ксальный... не совсем ясно!

— Быть ортоксальнее ортодоксов означает примерно следующее, — сказала коза. — Если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще. Если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы готовы объявить войну всему, что за кордоном. Понятно?

— Так точно, — сказал Хлебовводов. — Иначе невозможно. Образование у нас больно маленькое. Иначе того и гляди промахнешься.

— Крал? — небрежно спросил Феофил.

— Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало.

— Убивал?

— Ну что вы! — засмеялась коза. — Лично — никогда.

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах, и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест... то есть не работает...

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов.

Феофил покивал.

— Что от него останется на земле? — спросил он козу.

— Дети, — сказала коза. — Двое законных, трое незаконных... Фамилия в телефонной книге... — Прекрасное лицо ее напряглось, словно она всматривалась в даль. — Нет, больше ничего...

— А нам много и не надо, — хихикнул Хлебовводов. — Касательно же незаконных детей, то ведь это как получается? Едешь, бывало, в командировку...

— Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. — А этот

приятный мужчина?

— Это Фарфуркис, — сказала коза. — По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в девятьсот шестнадцатом в Таганроге, образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии — лектор. Имеет степень кандидата исторических наук, тема диссертации: «Профсоюзная организация мыловаренного завода имени товарища Семенова в период 1934–1941 годы». За границей не был и не рвется. Отличительная черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии...

— Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. — Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность — указывать вышестоящим юридические рамки их компетенции.

— А если они выходят за эти рамки? — спросил Феофил.

— Видите ли, — сказал Фарфуркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать при необходимости, но их нельзя перейти.

— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь? — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте? Факт есть явление или деяние, засвидетельствованное очевидцами? Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или просто невежественны... Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах? Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы... Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими обстоятельствами. Таким образом оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... Существуют Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую.

— Тонко, — сказал Феофил. — Очень тонко... Конечно, после Фарфуркиса останется эта его философия факта?

— Нет, — сказала коза. — То есть философия останется, но Фарфуркис тут ни при чем. Это не он ее придумал. Он вообще ничего не придумал, кроме своей диссертации, так что останется от него только эта диссертация как образец сочинений такого рода.

Феофил задумался. Коза сидела у его ног на скамеечке и расчесывала волосы, как Лорелея. Мы встретились с нею глазами, и она мне улыбнулась не без кокетства. Очень, очень милая была козочка. Было в ней что-то от моей Стеллочки, и мне ужасно захотелось домой.

— Правильно ли я понял, — сказал Фарфуркис, обращаясь к Феофилу, — что все кончено, и мы можем продолжать свои занятия?

— Еще нет, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы еще задать несколько вопросов вот этому гражданину...

— Как?! — вскричал потрясенный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу?

— Народ... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль.

— Вопросы Лавру Федотовичу?! — бормотал Фарфуркис, находясь в состоянии грогги.

— Да, — подтвердила коза. — Вунюкову Лавру Федотовичу, год рождения...

— Да что же это такое?! — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищи! Да куда это мы опять заехали? Ну что это такое? Неприлично же...

— Правильно, — сказал Хлебовводов. — Не наше это дело. Пускай милиция разбирается.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Другие предложения есть? Вопросы к докладчику есть? Выражая общее мнение, предлагаю дело номер двадцать девять рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности, Министерства финансов и Министерства охраны общественного порядка. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер двадцать девять под наименованием «Заколдун» передать в прокуратуру Китежградского района.

Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крыльчке, из-под ладони озирая окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика прозвучал над моим ухом одновременно с тяжелым стуком Большой Круглой Печати.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Возвращаясь из исполкомовского гаража в гостиницу, я потерял бдительность и вновь был пойман старикашкой Эдельвейсом. Делать было нечего, и я холодно осведомился, выполнил ли он мое задание. К моему огромному изумлению, оказалось, что да. Оказалось, что все рекомендованные книжки в количестве пяти он прочел от доски до доски и вызубрил наизусть: бывают такие дотошные старички, усердные не по разуму. Я не поверил, однако он шпарил по памяти целые страницы с любого места слева направо, справа налево и даже сзади наперед. При этом сразу же было видно, что он абсолютно ничего в прочитанном не понял и никогда не поймет. Воспользовавшись моим естественным замешательством, он объявил, что теорией он теперь овладел, возвращаться к ней больше не намерен, а намерен он возвратиться к практике.

В отчаянии и меланхолии я понес какую-то околесицу насчет самообучающихся машин. Он слушал, раскрыв рот, и впитывал каждый звук — по-моему, он запоминал эту околесицу дословно. Затем меня осенило. Я спросил, достаточно ли сложной машиной является его агрегат. Он немедленно и страстно заверил меня, что агрегат невообразимо сложен, что иногда он, Эдельвейс, даже сам не понимает, что там где и к чему. Прекрасно, сказал я. Хорошо известно, что всякая достаточно сложная электронная машина обладает способностью к самообучению и самовоспроизводству. Самовоспроизводство нам сейчас пока не нужно, а вот обучить эвристический агрегат Бабкина... тьфу... Машкина печатать тексты самостоятельно, без человека-посредника, мы обязаны в самые короткие сроки. Как это сделать? Мы применим хорошо известный и многократно испытанный метод длительной тренировки.

Преимущество этого метода в простоте. Берется достаточно обширный текст, скажем, «Жизнь животных» Брема в пяти томах. Машкин садится за свой агрегат и начинает печатать слово за словом, строчку за строчкой, страницу за страницей. При этом анализатор агрегата будет анализировать, думатель... — у ей внутри ведь есть, кажется, думатель? — ...думатель будет думать, и таким образом агрегат станет у вас обучаться. Вы и ахнуть не успеете, как он у вас начнет сам печатать. Вот вам рубль подъемных, и ступайте в библиотеку за Бремом...

Расставшись с Эдельвейсом, я поднялся в наш номер. Здесь было невесело. На моей кровати сидел, подперев подбородок кулаками, взлохмаченный и небритый Витька. Лицо его выражало высшую степень недовольства миром вообще и своим положением в этом мире в особенности. Эдик, обняв колено, сидел на подоконнике и грустно смотрел на улицу. Роман

в кремовых брюках, кремовых же выходных штиблетах и в майке расхаживал по комнате и со стыдливой горечью говорил о том, что быть моральным и нравственным хорошо, а быть аморальным и безнравственным, наоборот, плохо, что в нашем обществе, оказывается, узаконена строгая моногамия и любые попытки пойти против течения беспощадно караются общественным презрением, а то и в уголовном порядке; что любовь — это ни в какой мере не вздох на скамейке и уж, во всяком случае, не прогулки при луне...

Я сел за стол, откупорил бутылку нарзана и спросил, о чем идет речь. Выяснилось, что товарищ Голый, администратор опытный, искушенный в принципе «доверяй, но проверяй», навел справки о гражданине Ойре-Ойре Р.П., и сведения о семейном положении этого гражданина оказались столь неблагоприятными, что товарищ Голый мнением положил: гражданина Ойру-Ойру Р.П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать об указанном гражданине Ойре-Ойре Р. П. Выяснилось далее, что к отстранению от матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что оргвыводы отстранением не закончились и весьма возможен неофициальный закулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голого и Тройкой в лице товарища Вунюкова о невидании товарищем Ойрой-Ойрой Р. П. спрута Спиридона, как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен на исходные рубежи.

Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый, темный, уголовный Виктор Корнеев. Ничего, кроме серых и черных слов, вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили, во-первых, знакомый бидон с Жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в комендантово лоно, а во-вторых, крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло, и мысленному взору являлись тогда великие: грустный Жиан Жиакомо, укоризненный Федор Симеонович и беспощадно-брезгливый Кристобаль Хунта, произносящие перед поникшим Корнеевым какие-то волшебной силы слова, которые нам не дано было услышать (и слава богу!).

В отличие от двух своих братьев-магистров, Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем — зверское избиение Клопа Говоруна, бездарное рассмотрение дела заразы Лизки и решительная расправа со злосчастным Коровым Вязлом, — изрядно потрепало его оптимизм. Решение же по заколдованному месту, принятое немедленно после одного из лучших Эдиковых психологических этюдов, повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов позитивной реморализации в применении к неуязвимой Тройке.

Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину.

— Увы мне! — воскликнул вдруг Панург, грустно звякнув бубенцами. — Здесь печально, как в скорбном доме; здесь уныло, как на кладбище; а ведь вам еще неизвестна история блаженного Акакия! Вы еще не знаете, что Акакий был послушником у одного весьма сурового инок. Этот чернорясник всячески терзал Акакия словом и жезлом, дабы смирить его дух и умертвить его плоть. Однако, поскольку Акакий, существо крайне незлобивое, сносил ругань и побои без единого стопа и жалобы, инок этот, как часто бывает с садистическими натурами, постепенно распалился и незаметно для себя переменял цель своих жестоких упражнений. Теперь он припекал Акакия, стремясь изо всех сил спровоцировать беднягу на бунт или хотя бы на просьбу о пощаде. И не преуспел ведь! Плеть сломалась раньше духа, и Акакий в бозе почил. И вот, стоя над раскрытым гробом и глядя в мертвое лицо, разочарованный инок в злобе и раздражении думал: «Ушел-таки... Не

повезло... Надо же, какая скотина попалась упрямая!» Как вдруг Акакий открыл один глаз и торжествующе показал иноку длинный язык...

— Чего надо? — хмуро спросил Панурга грубый Корнеев. — Чего вы здесь все время шляетесь?

— Витька, — сказал я, — это же Панург...

— Ну и что? Шляются тут всякие шуты гороховые, уши развешивают по чужим домам... — Он схватил оставленный Панургом колпак с бубенцами и вышвырнул в окно.

— У товарища Колуна тоже есть взрослая дочка, — задумчиво проговорил Роман, но Корнеев посмотрел на него с таким презрением, что старший из магистров только рукой махнул, сел и принялся стаскивать матримониальные кремовые брюки.

Тогда Эдик решительно объявил, что нам остается одно: обратиться в высшие инстанции. Он, Эдик, не считает, правда, Тройку совершенно уж безнадежной и будет продолжать свои попытки реморализации и далее, но толково составленная и разумно обоснованная докладная записка, по-деловому критикующая деятельность Тройки, будучи направлена по верному адресу, может вызвать желательные последствия. Эдику возразил Роман, прекрасно изучивший все такого рода входы и выходы. Он сказал, что никакая «телега» не способна вызвать желательные последствия, ибо попадет она либо к товарищу Голому, духовная близость которого к товарищу Вунюкову очевидна, либо к товарищу Колуну, для которого авторитет профессора Выбегаллы не менее весом, нежели авторитет магистра Амперяна, и который как добросовестный человек не согласится выступать арбитром в научном споре. Так что в лучшем случае «телега» ничего не изменит, а в худшем — настроит Тройку на мстительный образ мысли.

Это было похоже на правду, и Корнеев предложил нейтрализовать Выбегаллу в надежде, что новый научный консультант окажется порядочным человеком. Витькино предложение показалось нам неясным. Непонятно было, что Корнеев имеет в виду под словом «нейтрализовать» и почему эта нейтрализация приведет к появлению нового консультанта. Впрочем, Корнеев с возмущением и достаточно грубо отверг наши подозрения и сказал, что имеется в виду лишь кампания по систематическому спаиванию профессора, которую кто-нибудь из нас развернет. Разика два приползет к заседанию на бровях, сказал Витька, его и попрут. Мы были разочарованы. В высшей степени сомнительным представлялось, чтобы кто-нибудь из нас в отдельности или даже все мы вместе способны были бы за пиршественным столом поставить Выбегаллу на брови. Кишка у нас была тонка, слабы мы были в коленках, и не хватало у нас для такой кампании пороуху.

Я предложил изготовить дубли всех экспонатов, в которых мы были заинтересованы, и подсунуть их Тройке вместо оригиналов. Мне казалось, что это позволит нам выиграть время, а там, глядишь, мы что-нибудь и придумаем. Мое предложение было отвергнуто — как паллиативное, оппортунистическое, дурно пахнущее и к тому же не сводящее дело с мертвой точки. Тогда, с горя, я предложил создать дубликаты членов Тройки. Магистры удивились. Были заданы вопросы. Я не знал, зачем я это предложил. У меня не было никаких оснований предполагать, будто Шестерка будет лучше Тройки. Я сказал это просто так, от отчаяния, и Корнеев заставил меня признать, что хотя я и демонстрирую иногда случайные озарения, но в сущности своей я как был дураком, так и остался.

Тут в разговор снова вмешался Панург и внес свое предложение, сформулированное в виде притчи о том, как некий Таврий Юбеллий остановил на улице убийцу двухсот двадцати пяти сенаторов консула Фульвия, сделал ему выговор и в знак протеста против позорной бойни заколол себя кинжалом. Некоторым кажется, что Таврий Юбеллий — герой, заключил Панург, но на самом деле он тоже дурак: зачем убивать себя, честного человека, если имеешь реальную возможность заколоть убийцу двух сотен твоих друзей и знакомых? Мы обдумали идею, заложенную в этой притче, и отказались от нее, причем Корнеев заявил, что довольно с нас уголовщины.

Источник идей иссякал на глазах. Последнюю попытку сделал Эдик, предложивший в знак протеста облить бензином и сжечь на глазах у Тройки своего дубля. Роман усомнился в

эффективности такого жеста, и они быстренько проиграли идею на моделях. Естественно, Роман оказался прав. Когда модель дубля вспыхнула, модель Лавра Федотовича отреагировала на происшествие стандартным высказыванием: «Затруднение? Товарищ Хлебовводов, устраните». И модель Хлебовводова, повалив на пол горящую модель дубля, затоптала ее ногами вместе с огнем. Больше идей не было, но зато позвонил телефон. Я снял трубку.

— Профессора Привалова Александра Ивановича можно позвать? — осведомился до тошноты знакомый дребезжащий голос.

— Да, — сказал я. — Слушаю вас, товарищ Машкин.

— Так что разрешите доложить, — сказал Эдельвейс, — что указания ваши я выполнил в точности. Две страницы уже перепечатал. Но вот беда какая... Не по-русски там идет... У меня в агрегате таких букв и нету. Иностранные, видать... Их печатать, или как?

— А! — сказал я, догадавшись, что речь идет о латинских наименованиях различных животных. — Обязательно печатать!

— А ежели в ем этих букв нету?

— Тогда срисовывайте рукой... Очень хорошо! Агрегат заодно и срисовывать научится... Действуйте, действуйте!

Я повесил трубку, и у меня даже на сердце потеплело, когда я представил себе, как настырный Эдельвейс, вместо того чтобы путаться под ногами, клянчить приказы и мучить меня своей глупостью, мирно сидит себе за «ремингтоном», колотит по клавишам и, высунув язык, срисовывает латинские буквы. И еще долго будет колотить и срисовывать, а когда мы покончим с Бремом, то возьмем сначала тридцать томов Чарлза Диккенса, а затем, помолясь, примемся за девяностотомное собрание сочинений Льва Николаевича со всеми письмами, статьями, заметками и комментариями... Не-ет, Витька не совсем прав, не такой уж я дурак, мне только взяться, а там уж я...

Я торжествующе оглядел кислые физиономии друзей моих и только было собрался для поднятия духа рассказать им, как умные люди обходят вставшие у них на пути препятствия, возведенные тупостью и невежеством, как вдруг неожиданное решение нашей проблемы выскочило у меня откуда-то из мозжечка и мгновенно завладело серым веществом. Несколько секунд я лихорадочно искал практическое решение осевшей меня светлой идеи, не нашел его и, не желая далее искать в одиночку, быстро и несвязно стал рассказывать, как я обуздал Эдельвейса.

Меня поняли, едва я упомянул о Бреме. Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова, и мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану, как последний осел, путаться под ногами.

— Вечный двигатель! — провозгласил Роман. — Десять заявок. Лучше двадцать.

— Двадцать на двигатель первого рода, — подхватил Эдик, — столько же на двигатель второго рода...

— Разумный селенит, — сказал Витька. — Электронное оборудование для спиритического кабинета...

— Дух Наполеона! — вскричал Эдик. — Я знаю, в Колонии есть две штуки!

— По пять заявок на каждую...

— Духи — это блеск. Дух Македонского — раз, дух Бисмарка, дух Чингисхана...

— Дух Амперяна!

— Откуда ты его возьмешь?

— Сделаем!

— Правильно, сделаем! А что еще можно сделать?

— Подождите, — сказал Роман. — Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок как минимум, а это значит — десять тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч конвертов... Далее, наша почта не справится, надо ей помочь...

— Ясно, — сказал Витька. — Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты, Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй

список глупостей. Сашка... Черт, вот ведь бездарь, ничего не умеет... Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в Тихую Заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел!

Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся. Голос Витьки рывкнул какое-то халдейское слово, и дверь исчезла. Предо мной была глухая стена.

Я завистливо вздохнул и, бормоча: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», — направился в Колонию к Спиридону. В Спиридоновом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь.

Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со Спиридоном и нес одеяла. Клоп ничего не нес — он шагал поодаль, засунув руки в карманы, и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленый разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. «А я вот все мое ношу с собой», — хвастливо заявлял он. Спиридон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами.

Нам предстояло пройти около десяти километров до Тихой Заводи, прелестного местечка на берегу Китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около двух часов, надо было поторапливаться, но мы задержались в Колонии поболтать с пришельцем Константином.

Константину сильно не повезло. Его летающее блюдце совершило вынужденную посадку около года назад. При посадке корабль испортился окончательно, и защитное силовое поле, которое автоматически создалось в момент приземления, убрать Константину не удалось. Поле это было устроено так, что не пропускало ничего постороннего. Сам Константин со своей одеждой и с деталями двигателя мог ходить через сиреневую пленку в обе стороны совершенно беспрепятственно. Но семейство полевых мышей, случайно оказавшееся на месте посадки, так там и осталось, и Константин вынужден был скормливать ему небогатые свои запасы, так как земную пищу пронести под защитный колпак не мог даже в своем желудке. Под колпаком оказались также забытые кем-то на парковой аллее тапочки, и это было единственное из земных благ, от которого Константину была хоть какая-то польза. Кроме тапочек и мышей, в защитном поле были заключены: два куста волчьей ягоды, часть чудовищной садовой скамейки, изрезанной всевозможными надписями, и четверть акра сыровой, никогда не просыхающей почвы.

Константиновы дела были плохи. Звездолет не желал чиниться. На Китежградском заводе не было, естественно, ни подходящих запчастей, ни специального оборудования. Кое-что можно было бы достать в крупнейших научных центрах мира, но требовалось ходатайство Тройки, и Константин с нетерпением вот уже много месяцев ждал вызова. Он возлагал некоторые надежды на помощь землян, он рассчитывал, что ему хотя бы удастся снять проклятое защитное поле и провести, наконец, на корабль какого-нибудь крупного ученого, но в общем-то он был настроен пессимистически, он был готов к тому, что земная техника окажется в состоянии помочь ему только лет через двести.

Константиново летающее блюдце стояло недалеко от дороги. Из-под блюдца торчали ноги Константина, обутые в скороходовские тапочки сорок четвертого размера. Ноги отлягивались от семейства мышей, настойчиво требовавших ужина. Федя постучал в защитное поле, и Константин, увидев нас, выбрался из-под блюдца. Он прикрикнул на мышей и вышел к нам. Знаменитые тапочки, конечно, остались внутри, и мыши тотчас устроили в них временное обиталище.

Мы спросили, как у Константина дела. Константин бодро сообщил, что, кажется, начало получаться, и перечислил два десятка незнакомых нам приборов, которые были ему совершенно необходимы. Мы сказали ему, что вредно так много работать, и пригласили с

собой — отдохнуть, развлечься, поесть ухи. Минут десять мы объясняли ему, что такое уха, после чего он признался, что это ему совсем неинтересно и что он лучше пойдет поработает. Кроме того, близилось время кормить мышей. Он пожал нам руки и снова полез под свое блюдце. Мы двинулись дальше.

Дорога шла вдоль Китежи, приятная загородная дорога, покрытая нежной теплой пылью, неразбитая, гладкая. Справа тянулись огороды городского питомника, слева, под небольшим обрывчиком, текла темная прохладная река, очень приятная на вид здесь, вдали от стоков Китежградского завода. Мы шли быстро. Меня прошибал пот, Федя тоже очень старался, и разговаривать нам было некогда: мы берегли дыхание. А Спиридон с Говоруном затеяли разговор на темы морали. Слушать их было очень поучительно, поскольку ни тот, ни другой представления не имели ни о гуманизме, ни о любви к ближнему.

Спиридон утверждал, что совесть — это пустое понятие, придуманное для обозначения внутренних переживаний человека, делающего не то, что ему делать надлежит. «Да, — соглашался Клоп, — муки совести — это последствия сделанных ошибок. У этих теплокровных людишек масса возможностей совершать ошибки, не то что у нас, клопов. У нас сохраняются только те, кто ошибок не делает и, следовательно, мучений совести не испытывает. Потому-то у клопов и нет совести». Это была истинная правда: будь у данного клопа хоть капля совести, он мог бы, по крайней мере, тащить пакет с луком.

Покончив с совестью, Спиридон перешел на проблемы добра и зла, и они быстро с ними расправились, согласившись, что находятся по ту сторону как того, так и другого. Затем последовали: вопрос о так называемой подлости, вопрос о праве на убийство и вопрос о любви. Подлость они объявили понятием, производным от совести и потому несущественным. Во взглядах на право убивать они разошлись решительно. Спиридон исходил из принципа: живу, потому что убиваю и не могу иначе. Клоп же проповедовал в этом вопросе христианство: соси, но знай меру. Они разгорячились и опять чуть не подрались, потому что Клоп обозвал Спиридона фашистом. Мы с Федей их разняли. Федя пригрозил Спиридону, что вывалит его на дорогу, а я пообещал Клопу, что сведу его в дезинсекцию.

Тогда они заговорили о любви. Спиридон оказался певцом любви платонической. Говорун же — чувственной. Спиридон вздыхал, закатывал глаза и мерзким голосом пел баллады — в переводе на русский — о коралловом цветке его нежности, плывущем по бурному океану навстречу предмету любви, каковой предмет он, несчастный влюбленный, никогда не видел и никогда не увидит. Он стонал и цитировал Блока: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, аи... Как тонко! — вздыхал он. — Как верно! Очень по-нашему, очень...» Говорун вначале только хихикал и расправлял усы тыльной стороной ладони, однако потом и его разобрало. Он принялся читать нам стихи собственного сочинения, предпослав им в виде эпиграфа знаменитые строки «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...», каковые он считал вершиной человеческой поэзии. Однако мы с Федей нашли его сочинения непристойными и велели ему замолчать. Особенно негодовал Федя. Он заявил, что такого не слыхивал даже от обезьян в зоопарке, где отсидел по недоразумению несколько месяцев.

Так за разговорами мы еще засветло добрались до Заводи. Федя подкатил тачку к самой воде и с удовольствием вывалил Спиридона в темный, поросший кувшинками омут. Каждый занялся своим делом. Спиридон исчез под волнами и, через минуту появившись, сообщил нам, что сегодня здесь полно раков, есть окуни и два больших леща. Я велел ему ловить раков, но ни в коем случае не отпугивать и, упаси бог, не трогать будущую уху. Федя принялся разбивать палатку, а я стал разжигать костер. Говорун, как всегда, отлынивал. Сославшись на внезапный приступ хандры и на слабые мышцы, он скрылся в кустах, где жило несколько его знакомых травяных клопов, и оттуда тотчас понеслись взрывы хохота и надсадно выкрикиваемые обрывки анекдотов сомнительного свойства.

Когда солнце село, лагерь был готов. Великолепно, без единой морщинки растянута палатка ждала постояльцев в объятия расстеленных одеял. Весело трещал костер, и

купающиеся в кипятке раки становились все более и более красными. Федя, закинув три удочки, азартно следил за поплавками, хотя уже основательно стемнело и надеяться на клев более не приходилось. Из омута страшновато поблескивали глаза удобно расположившегося там Спиридона. Судя по редким всплескам, он, несмотря на строжайший запрет, ощупкой ловил и поедал на месте отборную рыбу, однако уличить его в этом не было никакой возможности.

Я взял кол от палатки, сходил в кусты и разогнал веселящуюся там компанию, которая перешла уже все границы. Говорун полез было в амбицию, но я показал ему указательный палец и засадил чистить лук. Закат отбушевал, высыпали звезды, раки сварились, первая порция ухи — тоже. Я намазался диметилфталатом и пригласил всех к столу. Мы с Федей с удовольствием ели уху, сосали раков. Говорун присел поодаль на пенек и, глядя на нас, во всеуслышание сетовал на отсутствие поблизости приличной гостиницы или, по крайней мере, Дома колхозника. Спиридон плескался и чем-то хрустел в своем омуте.

Потом, когда уха была съедена, а раки высосаны до последней лапки, Федя пошел в темноту сполоснуть посуду и проверить, как себя чувствует живая рыба в садке. Для второй порции ухи все было готово, оставалось ждать ребят. Я прилег у костра, ощущая во всем теле приятную негу, предвкушая одеяло в палатке и завтрашнее утреннее купание при активном участии Спиридона, и как мы ухватим Говоруна за руки, за ноги и всей компанией поволочем его топить, а он будет орать и распространять коньячные запахи... Вспомнив о Клопе, я стал размышлять, куда девать его на ночь, дабы не вводить в искушение: посадить ли его в спичечный коробок или привязать шпагатом к дереву, — а в темноте у меня за ушами злобно и разочарованно завывали комары, оскорбленные диметилфталатом. Говорун сидел на пеньке, поджав под себя все ноги, и поглядывал на меня со странным выражением. Федя рассказывал Спиридону, как прекрасны снежные горы, каким образом нужно до них отсюда добираться и какие воинские части дислоцированы в окрестностях Китежграда. Я совсем уже решил было проблему Клопа, сообразив, что его просто следует перевезти на ночь на другой берег, и раздумывал, как бы поделикатнее сообщить ему о своем решении, как вдруг послышался треск валежника, приглушенные голоса, и из лесу один за другим вышли и вступили в освещенное пространство хорошо знакомые, но совершенно неожиданные люди.

Лавр Федотович, поддерживаемый под локоть дремлющим на ходу полковником, приблизился к костру первым и опустился на землю так резко, словно у него подломились ноги. Полковник вознамерился было рухнуть в костер, но, видимо, спохватился и рухнул в кусты прямо на возмущенно загалдевших травяных клопов. Хлебовводов отпихнул локтем Федю и уселся на его место. Фарфуркис же сначала вдумчиво пристроил огромный портфель Лавра Федотовича и только тогда опустился рядом со мной, протягивая к костру пухлые ручки.

Это было совершенно неожиданно и необъяснимо. Я обалдело посмотрел на часы. Было ровно десять. Тройка сидела неподвижно, и мне вдруг показалось, что эти люди, если не считать спящего полковника, удивлены не меньше и понимают не больше меня.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович с какой-то новой интонацией. — Кажется, возникло затруднение. Товарищ Фарфуркис, устраните.

Было совершенно очевидно, что затруднение действительно возникло и что Фарфуркис пока еще не имеет ни малейшего представления о том, как его устранять.

— Э... — сказал он. — Э... Природа... Э... Лес, река... Э... Отдых... — Он вдруг оживился. — Я полагаю, Лавр Федотович, что Тройка была достаточно загружена все эти дни, чтобы теперь позволить себе отдых...

— На природе, — подхватил сообразительный Хлебовводов.

— Да-да, на природе. Позвольте, да здесь прелестно! Палатка, костер...

— Костер — это огонь, — с некоторым сомнением сообщил Лавр Федотович.

— Совершенно верно, — без колебаний согласился Фарфуркис. — Прекрасный свежий воздух, проточная вода... Здесь можно прекрасно отдохнуть. Мы здесь прекрасно отдохнем,

Лавр Федотович!

— Грррм, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Хлебовводов, распорядитесь.

Хлебовводов тотчас вскочил и, зацепившись за натянутую веревку, прямо в сапогах полез в палатку.

— Все готово, Лавр Федотович! — бодро сообщил он оттуда. — Я уже распорядился! Пять одеял верблюжьих и три подушки походных, надувных. Сейчас я их надую, и можно отдыхать.

— Народ... — сказал Лавр Федотович, величественно поднимаясь. — Народ имеет право на отдых... Товарищ Фарфуркис, назначаю вас ответственным за отдых. Обеспечьте. Спокойной ночи, товарищи! Можете отдыхать.

С этими словами, подняв в знак прощального приветствия белую мягкую руку, он шагнул в палатку и тотчас принялся там ворочаться, как бронтозавр, время от времени, если судить по тихим воплям, придавливая собою Хлебовводова.

— Товарищ врио научного консультанта, — обратился ко мне Фарфуркис. — Оставляю вас дежурным по лагерю. Во-первых, костер. Костер не должен гаснуть всю ночь. Во-вторых, к завтраку Лавр Федотович предпочитает свежую рыбу, молоко и... э-э... лесные ягоды. Скажем, земляника, малина... Это на ваше усмотрение. В случае тревоги будите меня.

Он встал на четвереньки и ловко нырнул в палатку, увлекая за собой председательский портфель. И уже через секунду тишина нарушилась на диво спевшимся хором носоглоток: Лавр Федотович вел басы, Хлебовводов подтягивал звучным тенором, а Фарфуркис, выбирая паузы, врывался в них прерывистым дискантом.

— Так землянику или малину? — спросил безответный Федя.

— Кукиш с маслом, — сказал я. — Какого черта? Ничего не понимаю. Откуда они взялись? Где ребята?

Федя растерянно улыбнулся и пожал плечами.

— Не знаю, — пробормотал он. — Странно как-то... — Он помолчал. — Нет, пойду все-таки малинки соберу, — сказал он и ушел в темноту.

— Может быть, кто-нибудь объяснит мне все это? — громко спросил я.

Но Говоруна на пеньке уже не было. Сквозь носоглоточный хор я слышал, как он осторожно бродит в палатке, ступая по спящим, и потихоньку мурлычет: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым...»

Никто не ответил на мой вопрос. Только из омота донесся до меня скрежещущий смех Спиридона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утреннее солнце, вывернув из-за угла школы, теплым потоком ворвалось в раскрытые настежь окна комнаты заседаний, когда на пороге появился каменнолицый Лавр Федотович и немедленно предложил задернуть шторы. Народу это не нужно, объяснил он. Сейчас же следом за ним появился Хлебовводов, подталкивая впереди себя полковника. Полковник разбитым голосом выкрикивал команды и комментировал их, а Хлебовводов приговаривал: «Ладно, ладно тебе, развоевался...» Когда мы с комендантом задернули шторы, на пороге возник Фарфуркис. Он что-то жевал и утирался. Невнятной скороговоркой извинившись за опоздание, он разом проглотил все недожеванное и завопил:

— Протестую! Вы с ума сошли, товарищ Зубо! Немедленно убрать эти шторы! Что за манера отгораживаться и бросать тень?

Возник крайне неприятный инцидент, и все время, пока инцидент распутывался, пока Фарфуркиса унижали, сгибали в бараний рог, вытирали об него ноги и выбивали ему бубну, Выбегалло, как бы говоря: «Вот злонравия достойные плоды!», — укоризненно качал головой и многозначительно поглядывал в мою сторону. Потом Фарфуркиса, растоптанного, растерзанного, измолоченного и измочаленного, пустили униженно догнывать на его место, а

сами, отдуваясь, опуская засученные рукава, вычищая клочья шкуры из-под когтей, облизывая окровавленные клыки и произвольно взрыкивая, расселись за столом и объявили себя готовыми к утреннему заседанию.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович, бросив последний взгляд на распятые останки. — Следующий! Докладывайте, товарищ Зубо.

Комендант впился в раскрытую папку скрюченными пальцами, в последний раз глянул поверх бумаги на поверженного врага налитыми глазами, в последний раз с отяжкой кинул задними лапами землю и, только втянув жадно раздутыми ноздрями сладостный аромат разложения, окончательно успокоился.

— Дело семьдесят второе, — забарабанил он. — Константин Константинович Константинов двести тринадцатый до новой эры город Константинов планеты Константины звезды Антарес...

— Я бы попросил! — прервал его Хлебовводов. — Ты что это нам читаете? Ты это нам роман читаете? Или водевиль? Ты, браток, анкету нам зачитываете, а получается у тебя водевиль.

Лавр Федотович взял бинокль и направил на коменданта. Комендант сник.

— Это, помню, в Сызрани, — продолжал Хлебовводов, — бросили меня заведующим курсов повышения квалификации среднего персонала, так там тоже был один — улицу не хотел подметать... Только не в Сызрани, помнится, это было, а в Саратове... Ну да, точно, в Саратове! Сперва я там школу мастеров-крупчатников укреплял, а потом, значит, бросили меня на эти курсы... Да, в Саратове, в пятьдесят втором году, зимой. Морозы, помню, как в Сибири... Нет, — сказал он с сожалением, — не в Саратове это было. В Сибири это и было, а вот в каком городе — вылетело из башки. Вчера еще помнил, эх, думаю, хорошо было там, в этом городе...

Он замолчал, мучительно приоткрыв рот. Лавр Федотович подождал немного, осведомился, есть ли вопросы к докладчику, убедился, что вопросов нет, и предложил Хлебовводову продолжать.

— Лавр Федотович, — прочувствованно сказал Хлебовводов. — Забыл, понимаете, город. Ну забыл, и все. Пускай он пока дальше зачитывает, а я куда вспомню... Только пускай он по форме, пускай пункты называет и не частит, а то ведь безобразие получается...

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — сказал Лавр Федотович.

— Пункт пятый, — прочитал комендант с робостью. — Национальность...

Фарфуркис позволил себе слабо шевельнуться и сейчас же испуганно замер. Однако Хлебовводов уловил это движение и приказал коменданту:

— Сначала. Сначала! Сызнова читайте!

— Пункт первый, — сказал комендант. — Фамилия...

Пока он читал сызнова, я с беспокойством думал о ребятах, почему они не пришли вчера в лагерь, почему их нет сейчас на заседании, неужели работы оказалось так много...

— Херсон! — заорал вдруг Хлебовводов. — В Херсоне это было, вот где... Ты давайте, продолжайте, — сказал он вздрогнувшему коменданту. — Это я так, вспомнил... — Он сунулся к уху Лавра Федотовича и, млея от смеха, принялся ему что-то нашептывать, так что черты товарища Вунюкова обнаружили тенденцию к раздеревенению, и он был вынужден прикрыться от демократии обширной ладонью.

— Пункт шестой, — нерешительно зачитал комендант. — Образование: высшее син... кри... кре... кретическое.

Фарфуркис дернулся и пискнул, но опять не посмел. Хлебовводов ревниво вскинулся:

— Какое? Какое образование?

— Синкретическое, — повторил комендант единым духом.

— Ага, — сказал Хлебовводов и поглядел на Лавра Федотовича.

— Это хорошо, — веско произнес Лавр Федотович. — Народ любит самокритику. Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

— Пункт седьмой. Знание иностранных языков: все без словаря.

— Чего-чего? — сказал Хлебовводов.
— Все, — повторил комендант. — Без словаря.
— Вот так самокритическое, — сказал Хлебовводов. — Ну ладно, мы это проверим.
— Пункт восьмой. Профессия и место работы в настоящее время: читатель поэзии, ам-фи-бра-хист, пребывает в краткосрочном отпуске. Пункт девятый...
— Подождите, — сказал Хлебовводов. — Работает-то он где?
— В настоящее время он в отпуске, — пояснил комендант. — В краткосрочном.
— Это я без тебя понял, — возразил Хлебовводов. — Я говорю: специальность у него какая?

Комендант поднял папку к глазам.

— Читатель... — сказал он. — Стихи, видно, читает.

Хлебовводов ударил по столу ладонью.

— Я тебе не говорю, что я глухой, — сказал он. — Что он читает, это я слышал. Читает и пусть себе читает в свободное от работы время. Специальность, говорю! Работает где, кем? Выбегалло отмалчивался, и я не вытерпел.

— Его специальность — читать поэзию, — сказал я. — Он специализируется по амфибрахию.

Хлебовводов посмотрел на меня с подозрением.

— Нет, — сказал он. — Амфибрахий — это я понимаю. Амфибрахий там... то, се... Я что хочу уяснить? Я хочу уяснить, за что ему жалованье платят, зарплату.

— У них зарплаты как таковой нет, — пояснил я.

— А! — обрадовался Хлебовводов. — Безработный! — Но он тут же опять насторожился. — Нет, не получается!.. Концы с концами у вас не сходятся. Зарплаты нет, а отпуск есть. Что-то вы тут крутите, изворачиваетесь вы тут что-то...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику, а также к научному консультанту. Профессия дела номер семьдесят два.

— Читатель поэзии, — быстро сказал Выбегалло. — И вдобавок... эта... амфибрахист.

— Место работы в настоящее время, — сказал Лавр Федотович.

— Пребывает в краткосрочном отпуске. Отдыхает, значить, краткосрочно.

Лавр Федотович, не поворачивая головы, перекатил взгляд в сторону Хлебовводова.

— Имеются еще вопросы? — осведомился он.

Хлебовводов тоскливо заерзал. Простым глазом было видно, как высшая доблесть солидарности с мнением начальства борется в нем с не менее высоким чувством гражданского долга. Наконец гражданский долг победил, хотя и с заметным для себя ущербом.

— Что я должен сказать, Лавр Федотович, — залезил Хлебовводов. — Ведь вот что я должен сказать! Амфибрахист — это вполне понятно. Амфибрахий там... то, се... И насчет поэзии все четко. Пушкин там, Михалков, Корнейчук... А вот читатель... Нет же в номенклатуре такой профессии! И понятно, что нет. А то как это получается? Я, значит, стишки почитываю, а мне за это — блага, мне за это — отпуск... Вот что я должен уяснить.

Лавр Федотович взял бинокль и воззрился на Выбегаллу.

— Заслушаем мнение консультанта, — объявил он.

Выбегалло поднялся.

— Эта... — сказал он и погладил бороду. — Товарищ Хлебовводов правильно здесь заостряет вопрос и верно расставляет акценты. Народ любит стихи — се ля мэн сюр ле кёр ке же ву ле ди!¹³ Но всякие ли стихи нужны народу? Же ву деманд анпё,¹⁴ всякие ли? Мы с вами, товарищи, знаем, что далеко не всякие. Поэтому мы должны очень строго следовать...

¹³ Я говорю вам это, положив руку на сердце!

¹⁴ Я вас спрашиваю.

эта... определенному, значить, курсу, не терять из виду маяков и... эта... ле вин этире иль фо ле боар.¹⁵ Мое личное мнение вот какое: эдэ — туа э дье тедера.¹⁶ Но я предложил бы еще заслушать присутствующего здесь представителя товарища Привалова, вызвать его, так сказать, в качестве свидетеля...

Лавр Федотович перевел бинокль на меня. Хлебовводов сказал:

— А что ж, пускай. Все равно он постоянно выскакивает, не терпится ему, вот пускай и прояснит, раз он такой шустрый...

— Вуаля, — с горечью сказал Выбегалло, — ледукасьён куон донно жёнжен дапрезан!¹⁷

— Вот и я говорю, пускай, — повторил Хлебовводов.

— Слово предоставляется свидетелю Привалову, — произнес Лавр Федотович, опуская бинокль.

Я сказал:

— У них там очень много поэтов. Все пишут стихи, и каждый поэт, естественно, хочет иметь своего читателя. Читатель же — существо неорганизованное, он этой простой вещи не понимает. Он с удовольствием читает хорошие стихи и даже заучивает их наизусть, а плохие знать не желает. Создается ситуация несправедливости, неравенства, а поскольку жители там очень деликатны и стремятся, чтобы всем было хорошо, создана специальная профессия — читатель. Одни специализируются по ямбу, другие — по хорю, а Константин Константинович — крупный специалист по амфибрахию и осваивает сейчас александрийский стих, приобретает вторую специальность. Цех этот, естественно, вредный, и читателям полагается не только усиленное питание, но и частые краткосрочные отпуска.

— Это я все понимаю! — проникновенно вскричал Хлебовводов. — Ямбы там, александриты... Я одного не понимаю: за что же ему деньги платят? Ну сидит он, ну читает. Вредно, знаю! Но чтение — дело тихое, внутреннее, как ты его проверишь, читает он или кемарит, сачок?.. Я помню, заведовал я отделом в инспекции по карантину и защите растений, так у меня попался один... Сидит на заседании и вроде бы слушает, даже записывает что-то в блокноте, а на деле спит, прощелыга! Сейчас по конторам многие навострились спать с открытыми глазами... Так вот я и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не должно же быть такой профессии, чтобы контроль был невозможен — работает человек или, наоборот, спит?

— Это все не так просто, — возразил я. — Ведь он не только читает, ему присылают все стихи, написанные амфибрахием. Он должен все их прочесть, понять, найти в них источник высокого наслаждения, полюбить их и, естественно, обнаружить какие-нибудь недостатки. Об этих всех своих чувствах и размышлениях он обязан регулярно писать авторам и выступать на творческих вечерах этих авторов, на читательских конференциях, и выступать так, чтобы авторы были довольны, чтобы они чувствовали свою необходимость... Это очень, очень тяжелая профессия, — заключил я. — Константин Константинович — настоящий герой труда.

— Да, — сказал Хлебовводов. — Теперь я уяснил. Полезная профессия. И система мне нравится. Хорошая система, справедливая.

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо, — произнес Лавр Федотович.

Комендант вновь поднес папку к глазам.

— Пункт девятый. Был ли за границей: был. В связи с неисправностью двигателя четыре часа находился на острове Рапа-Нуи.

¹⁵ Когда вино откупорено, его следует выпить.

¹⁶ Помогай себе сам, тогда и бог тебе поможет.

¹⁷ Вот воспитание, какое дают теперь молодым людям!

Фарфуркис что-то неразборчиво пропищал, и Хлебовводов тотчас подхватился.

— Это чья же нынче территория? — обратился он к Выбегалле.

Профессор Выбегалло, добродушно улыбнувшись, широким снисходительным жестом отослал его ко мне.

— Дадим слово молодежи, — сказал он.

— Территория Чили, — объяснил я.

— Чили, Чили... — забормотал Хлебовводов, тревожно поглядывая на Лавра Федотовича. Лавр Федотович хладнокровно курил. — Ну, раз Чили — ладно тогда, — решил Хлебовводов. — И четыре часа только... Ладно. Что там дальше?

— Протестую! — с безумной храбростью прошептал Фарфуркис, но комендант уже читал дальше.

— Пункт десятый. Краткая сущность необъясненности: разумное существо со звезды Антарес. Летчик космического корабля под названием летающее блюдце...

Лавр Федотович не возражал. Хлебовводов, глядя на него, одобрительно кивнул, и комендант продолжал:

— Пункт одиннадцатый. Данные о ближайших родственниках... Тут большой список.

— Читайте, читайте, — сказал Хлебовводов.

— Семьсот девяносто три лица, — предупредил комендант.

— Ты не теряйте время, — посоветовал Хлебовводов. — Твое дело читать, вот и читайте. И разборчиво.

Комендант вздохнул и начал:

— Родители — А, Бе, Ве, Ге, Де, Е, Ё, Же...

— Ты это чего? Ты постой... Ты погоди... — сказал Хлебовводов, от изумления утратив дар вежливости. — Ты что, в школе? Мы тебе что, дети?

— Как написано, так и читаю, — огрызнулся комендант и продолжал: — Зе, И, Й, Ке, Ле, Ме...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Имеется вопрос к докладчику. Отец дела номер семьдесят два. Фамилия, имя, отчество.

— Одну минутку, — вмешался я. — У Константина Константиновича девяносто четыре родителя пяти различных полов, девяносто шесть собратчиков четырех различных полов, двести семь детей пяти различных полов и триста девяносто шесть соутробцев пяти различных полов.

Эффект моего сообщения превзошел все ожидания. Лавр Федотович в полном замешательстве взял бинокль и поднес его ко рту. Хлебовводов беспрерывно облизывался. Фарфуркис яростно листал записную книжку.

На Выбегаллу надеяться не приходилось, и я готовился к генеральному сражению — углублял траншеи до полного профиля, минировал танкоопасные направления, оборудовал отсечные позиции. Погребов ломилось от боеприпасов, артиллеристы застыли у орудий, пехоте было выдано по чарке водки. Эх, ребят со мной не было! Не было у меня резерва Главного Командования, был я один.

Тишина тянулась, набухала грозой, насыщалась электричеством, и рука моя уже легла на телефонную трубку — я готов был скомандовать упреждающий атомный удар, — однако все это ожидание рева, грохота, лязга окончилось пшиком. Хлебовводов вдруг ослабил, наклонился к уху Лавра Федотовича и принялся что-то нашептывать ему, бегая по углам замаслившимися глазками. Лавр Федотович опустил обслоненный бинокль, прикрылся ладонью и произнес дрогнувшим голосом:

— Продолжайте докладывать, товарищ Зубо.

Комендант с готовностью отложил список родственников и зачитал:

— Пункт двенадцатый. Адрес постоянного места жительства: Галактика, звезда Антарес, планета Константина, государство Константиция, город Константинов, вызов 457 дробь 14-9. Все.

— Протестую, — сказал Фарфуркис окрепшим голосом. Лавр Федотович благосклонно

взглянул на него. Опала кончалась, и Фарфуркис со слезами счастья на глазах затарахтел: — Я протестую! В описании указана дата рождения — двести тринадцатый год до нашей эры. Если бы это было так, то делу номер семьдесят два было бы сейчас больше двух тысяч лет, что на две тысячи лет превышает максимальный известный науке возраст. Я требую уточнить дату и наказать виновного.

— Ему действительно две тысячи лет, — сказал я.

— Это антинаучно, — возразил Фарфуркис. — Вы, товарищ свидетель, напрасно воображаете, что вам позволят здесь оперировать антинаучными заявлениями. Мы здесь тоже кое-что знаем, и я говорю сейчас даже не о гигантском опыте нашего руководства, но просто о нашем знании научной литературы. В последнем номере журнала «Здоровье»... — И он подробно рассказал содержание статьи о геронтологии в последнем номере журнала «Здоровье». Когда он кончил, Хлебовводов ревниво спросил:

— А может быть, он горец, откуда вы знаете?

— Но позвольте! — вскричал Фарфуркис. — Даже среди горцев максимально возможный возраст...

— Не позволю я, — сказал Хлебовводов. — Не позволю я вам преуменьшать достижения наших славных горцев! Если хотите знать, то максимально возможный возраст наших горцев предела не имеет! — И он победоносно поглядел на Лавра Федотовича.

— Народ... — произнес Лавр Федотович. — Народ вечен. Пришельцы приходят и уходят, а народ наш, великий народ пребывает вовеки.

Фарфуркис и Хлебовводов задумались, прикидывая, в чью же пользу высказался председатель. Ни тому ни другому рисковать не хотелось. Один был на гребне и не желал из-за какого-то паршивого пришельца с этого гребня ссыпаться. Другой, глубоко внизу, висел над пропастью, но ему только что была сброшена спасательная бечевка. А между тем Лавр Федотович произнес:

— У вас все, товарищ Зубо? Вопросы есть? Нет вопросов? Есть предложение вызвать дело, поименованное Константиновым Константином. Других предложений нет? Пусть дело войдет.

Комендант побледнел, закусил губу и вытащил из кармана перламутровую коробочку.

— Пусть дело войдет, — повторил Лавр Федотович, чуть повышая голос.

— Сейчас, сейчас, — бормотал комендант. Ему было страшно.

— Ну чего ты стоите? — возмущенно спросил Хлебовводов. — Мне прикажете за ним идти?

Тогда комендант решился. Он зажмурил глаза и нажал на перламутровую крышку. Раздался звук откупориваемой бутылки, и рядом с демонстрационным столом появился Константин. По-видимому, вызов захватил его во время работы: он был в комбинезоне, заляпанном флюоресцентной смазкой, передние руки его были в рабочих металлических перчатках, а задние он торопливо вытирал о спину. Все четыре глаза его еще хранили озабоченное, деловое выражение. По комнате распространился сильный запах Большой Химии.

— Здравствуйте, — сказал Константин обрадованно, сообразив, видимо, куда попал. — Наконец-то вы меня вызвали. Правда, дело мое пустяковое, неловко даже вас беспокоить, но я в безвыходном положении, мне только и остается, что просить о помощи. Чтобы не задерживать долго ваше внимание, что мне нужно? — Он принялся загибать пальцы на правой передней руке. — Лазерную сверлильную установку, но самой высокой мощности. Плазменную горелку, у вас такие уже есть, я знаю. Два инкубатора на тысячу яиц каждый. Для начала мне этого хватит, но хорошо бы еще квалифицированного инженера и чтобы разрешили работать в лабораториях ФИАНа...

— Так какой же это пришелец? — с изумлением и негодованием произнес Хлебовводов. — Какой он, я спрашиваю, пришелец, если я его каждый день вижу в ресторане? Вы, собственно, гражданин, кто такой и как сюда попали?

— Я — Константин из системы Антареса... — Константин смутился. — Я думал, что

вы уже все знаете... Меня уже опрашивали, я анкету заполнял... — Он заметил Выбегаллу и приветливо ему улыбнулся. — Ведь это вы меня опрашивали, верно?

Хлебовводов тоже обратился к Выбегалле.

— Так это, по-вашему, пришелец? — язвительно спросил он.

— Эта... — сказал Выбегалло с достоинством. — Современная наука не отрицает, значить, возможности прибытия пришельцев, товарищ Хлебовводов, надо быть в курсе. Это официальное мнение, не мое, а гораздо более ответственных научных работников... Джордано Бруно, например, высказывался по этому вопросу вполне официально... Академик Волосянис Левон Альфредович тоже... и... эта... писатели — Уэльс, например, или, скажем, Тьмутараканов...

— Странные какие-то дела творятся, — сказал Хлебовводов с недоверием. — Пришельцы какие-то странные пошли...

— Я вот смотрю фотографию в деле, — подал голос Фарфуркис, — и вижу, что общее сходство имеется, но у товарища на фотографии две руки, а у этого неизвестного гражданина — четыре. Как это с точки зрения науки может быть объяснено?

Выбегалло разразился длинной французской цитатой, смысл которой сводился к тому, что некий Артур любил поутру выйти на берег моря, предварительно выпив чашку шоколада. Я перебил его и сказал:

— Костя, встаньте, пожалуйста, к товарищу Фарфуркису лицом.

Константин повиновался.

— Так-так-так, — сказал Фарфуркис. — С этим мы разобрались. Должен вам сказать, Лавр Федотович, что сходство фотографии с этим вот товарищем несомненное. Вот четыре глаза я вижу... да, четыре. Носа нет... Да... Рот крючком. Все правильно.

— Ну, не знаю, — сказал Хлебовводов. — О пришельцах ясно писали в прессе, и утверждалось там, что если бы пришельцы существовали, они давали бы нам о себе знать. А поскольку, значит, не дают о себе знать, то их и нет, а есть одна выдумка недобросовестных лиц... Вы пришелец? — гаркнул он вдруг на Константина.

— Да, — сказал Константин, попятившись.

— Знать вы о себе давали?

— Я не давал, — сказал Константин. — Я вообще не собирался у вас приземляться. И дело ведь не в этом, по-моему...

— Нет уж, гражданин хороший, ты мне это бросьте. Именно в этом все дело и есть. Дал о себе знать — милости просим, хлеб-соль выносим, пей-гуляй. А не дал — не обессудь. Амфибрахий амфибрахийем, а мы тут тоже деньги не даром получаем. Мы тут работаем и отвлекаться на посторонних не можем. Таково мое общее мнение.

— Грррр, — произнес Лавр Федотович. — Кто еще желает высказаться?

— Я, с вашего позволения, — попросил Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов в целом верно изобразил положение вещей. Однако мне кажется, что, несмотря на загруженность работой, мы не должны отмахиваться от товарища. Мне кажется, мы должны подойти более индивидуально к этому конкретному случаю. Я — за более тщательное расследование. Никто не должен получить возможность обвинять нас в поспешности, бюрократизме и бездушии, с одной стороны, а также в халатности, прекраснотушии и отсутствии бдительности, с другой стороны. С позволения Лавра Федотовича я предложил бы провести дополнительный опрос гражданина Константинова с целью выяснения его личности.

— Чего это мы будем подменять собой милицию? — сказал Хлебовводов, чувствуя, что поверженный соперник вновь неудержимо лезет вверх по склону.

— Прошу прощения! — сказал Фарфуркис. — Не подменять собой милицию, а содействовать исполнению духа и буквы инструкции, где в параграфе девятом главы первой части шестой сказано по этому поводу... — Голос его повысился до торжествующей звонкости. — «В случае, когда идентификация, произведенная научным консультантом совместно с представителем администрации, хорошо знающим местные условия, вызывает сомнения Тройки, надлежит произвести дополнительное изучение дела на предмет

уточнения идентификации совместно с уполномоченным Тройки или на одном из заседаний Тройки». Что я и предлагаю.

— Инструкция, инструкция... — сказал Хлебовводов гнусаво. — Мы будем по инструкции, а он тут нам голову будет морочить, жулик четырехглазый... время будет у нас отнимать. Народное время! — воскликнул он страдальчески, косясь на Лавра Федотовича.

— Почему же это я жулик? — осведомился Константин с возмущением. — Вы меня оскорбляете, гражданин Хлебовводов. И вообще я вижу, что вам совершенно безразлично, пришелец я или не пришелец, вы только стараетесь подсадить гражданина Фарфуркиса и выиграть в глазах гражданина Вунюкова... Это бесчестно...

— Клевета! — наливаясь кровью, заорал Хлебовводов. — Оговаривают! Да что же это, товарищи? Двадцать пять лет, куда прикажут... Ни одного взыскания... Всегда с повышением...

— И опять врите, — хладнокровно сказал Константин. — Два раза вас выгоняли без всякого повышения.

— Да это навет! Это политический донос! Не те времена, товарищ Константинов! Мы еще посмотрим, чем ваша сотня родителей занималась, что это были за родители... Набрал, понимаете, родственников целое учреждение...

— Грррм, — проговорил Лавр Федотович. — Есть предложение прекратить прения и подвести черту. Другие предложения есть?

Наступила тишина. Фарфуркис, не слишком скрываясь, торжествовал. Хлебовводов вытирался платком, а Константин пристально вглядывался в Лавра Федотовича, явно тщаь прочесть его мысли или хотя бы проникнуть в его душу, однако видно было, что все его старания пропадают втуне, и в четырехглазом, безносом лице его виделась мне все более отчетливо проступающая разочарованность опытного кладоискателя, который отвалил заветный камень, засунул по плечо руку в древний тайник, но никак не может там нащупать ничего, кроме нежной пыли, липкой паутины и каких-то неопределенных крошек.

— Поскольку других предложений не поступает, — провозгласил Лавр Федотович, — приступим к доследованию дела. Слово предоставляется... — он сделал томительную паузу, во время которой Хлебовводов чуть не умер, — ...товарищу Фарфуркису.

Хлебовводов, очутившись на дне зловонной пропасти, безумными глазами следил за полетом стервятника, свершающего круг за кругом в недоступной теперь ведомственной синеве. Фарфуркис же не торопился начинать. Он проделал еще пару кругов, обдавая Хлебовводова пометом, затем уселся на гребне, почистил перышки, охорашиваясь и кокетливо поглядывая на Лавра Федотовича, и наконец приступил:

— Вы утверждаете, товарищ Константинов, что вы есть пришелец с иной планеты. Какими документами вы могли бы подтвердить это ваше заявление?

— Я мог бы показать вам свой бортовой журнал, — сказал Константин, — но, во-первых, он нетранспортабелен, а во-вторых, я вообще не хотел бы затрудняться и затруднять вас какими-то доказательствами. Ведь я пришел сюда, чтобы просить у вас помощи. Всякая планета, входящая в космическую конвенцию, обязана оказывать помощь потерпевшим аварию. Я уже сказал, что мне нужно, и теперь только жду ответа. Может быть, вы неспособны оказать мне эту помощь, тогда лучше сказать мне об этом прямо... Тут нет ничего стыдного...

— Минуточку, — прервал его Фарфуркис. — Вопрос о компетентности настоящей комиссии в смысле оказания помощи представителям иных планет мы пока отложим. Наша задача сейчас — идентифицировать вас, товарищ Константинов, как такого представителя... Минуточку, я еще не кончил. Вы упомянули бортовой журнал и заявили, что он, к сожалению, нетранспортабелен. Но, может быть, Тройка получит возможность осмотреть оный журнал непосредственно на борту вашего корабля?

— Нет, это невозможно, — вздохнул Константин. Он внимательно изучал Фарфуркиса.

— Ну что же, это ваше право, — сказал Фарфуркис. — Но в таком случае вы, быть может, представите нам какую-нибудь иную документацию, могущую служить

удостоверением вашего происхождения?

— Я вижу, — сказал Константин с некоторым удивлением, — что вы действительно хотите убедиться в том, что я пришелец. Правда, мотивы ваши мне не совсем понятны... Но не будем об этом. Что касается доказательств, то неужели мой внешний вид не наводит вас на правильные умозаключения?

Фарфуркис с сожалением покачал головой.

— Увы, — сказал он, — все обстоит не так просто. Наука не дает нам вполне четкого представления о том, что есть человек. Это естественно. Если бы, например, наука определила людей как существ с двумя глазами и двумя руками, значительные слои населения, обладающие лишь одной рукой или вовсе безрукие, оказались бы в ложном положении. С другой стороны, медицина в наше время творит чудеса. Я сам видел по телевизору собак с двумя головами и с шестью лапами, и у меня нет никаких оснований...

— Тогда, может быть, вид моего корабля... Вид, достаточно необычный для вашей земной техники...

И вновь Фарфуркис покачал головой.

— Вы должны понимать, — мягко сказал он, — что в наш атомный век члена ответственного органа, имеющего специальный допуск, трудно удивить каким бы то ни было техническим сооружением.

— Я могу читать мысли, — сообщил Константин. Он явно заинтересовался ситуацией.

— Телепатия антинаучна, — мягко сказал Фарфуркис. — Мы в нее не верим.

— Вот как? — удивился Константин. — Странно... Но послушайте, что я сейчас скажу. Вот вы, например, намерены рассказать мне о казусе с «Наутилусом», а вот гражданин Хлебовводов...

— Навет! — хрипло закричал Хлебовводов, и Константин замолк.

— Поймите нас правильно, — проникновенно сказал Фарфуркис, прижимая руки к полной груди. — Мы ведь не утверждаем, что телепатии не существует. Мы утверждаем лишь, что телепатия антинаучна и что мы в нее не верим. Вы упомянули про казус с подводной лодкой «Наутилус», но ведь хорошо известно, что это лишь буржуазная утка, сфабрикованная для того, чтобы отвлечь внимание народа от насущных проблем сегодняшнего дня. Так что ваши телепатические способности, истинные или только вами воображаемые, являются лишь фактом вашей личной биографии, каковая и есть в настоящий момент объект нашего расследования. Вы чувствуете замкнутый круг?

— Чувствую, — согласился Константин. — Но если бы я, скажем, сейчас при вас немного полетал?

— Это было бы, конечно, интересно. Но мы, к сожалению, сейчас на работе и не можем предаваться зрелищам, даже самым захватывающим.

Константин вопросительно посмотрел на меня. Мне казалось, что положение безнадежно, мне было вообще не до шуток: Константин этого не понимал, но Большая Круглая Печать уже висела над ним, как дамоклов меч. А ребят все не было, и я не знал, что делать. Можно было только тянуть время, и я сказал:

— Давайте, Костя.

Костя дал. Сначала он давал несколько вяло, осторожничал, боялся что-нибудь поломать, но постепенно увлекся и продемонстрировал ряд чрезвычайно эффектных экзерсисов с пространственно-временным континуумом, с разнообразными трансформациями живого коллоида и с критическими состояниями органов отражения.

Он исчез и сейчас же вернулся с мокрой болотной кувшинкой. Он взбежал на потолок и последовательно превратил себя в муху, в люстру и в гирлянду колбас. Он размазался по стенам и снова собрался посередине комнаты. Он уплощил Хлебовводова и завязал его изящным бантом на шее у неподвижного Лавра Федотовича. Он вылечил у Фарфуркиса зуб, удалил у всех присутствующих отросток слепой кишки и превратил пластмассовую оправу очков у полковника в золотую. Он сделал на минуточку что-то со мною, и в результате я пользовался редкой возможностью видеть комнату заседаний из четырех углов

одновременно. Затем он занялся физической геометрией. Он выдвинул оба окна в направлении четвертого измерения. Он наклеил Дом культуры на поверхность небольшого пятимерного гиперболоида. Он как-то так ловко сложил евклидово пространство, что я очутился в Институте и даже успел поздороваться со Стеллочкой. Он учинил бесстыдную развертку трехмерного Фарфуркиса на плоскости. Он гонял нас взад и вперед по времени, переводил в соседствующие вселенные, всовывал нас в вероятностные миры.

Когда он остановился, у меня кружилась голова, пульс неистовствовал, трещало в ушах, и я еле расслышал усталый голос Пришельца:

— Время уходит, мне некогда. Говорите, что вы решили.

И опять никто ему не ответил. Лавр Федотович задумчиво вертел длинными пальцами коробочку диктофона. Умное лицо его было спокойно и немного печально. Полковник ни на что не обращал внимания — или делал вид, что не обращает. Он нацарапал записку, перебрал ее Зубо, а тот внимательно прочитал ее и бесшумно пробежал пальцами по клавиатуре информационной машины. Фарфуркис листал справочник, уставясь в страницы невидящими глазами. А Хлебовводов мучился. Он кусал губы, морщился, даже тихонько покряхтывал. Из машины с сухим щелчком вылетела белая карточка. Зубо подхватил ее и передал полковнику.

— Скачок в тысячу лет... — тихо сказал Хлебовводов.

— Скачок назад, — проговорил Фарфуркис сквозь зубы. Он все листал справочник.

— Я не знаю, как мы теперь будем работать, — сказал Хлебовводов. — Мы заглянули в конец задачника, где все ответы.

— Но вы же еще не видели ответов, — возразил Фарфуркис. — Хотите увидеть?

— Какая разница, — сказал Хлебовводов, — раз мы знаем, что ответы есть. Скучно искать, когда совершенно точно знаешь, что кто-то уже нашел.

Пришелец ждал, переплетя руки. Ему было неудобно в кресле с низкой спинкой, и он сидел, напряженно выпрямившись. Его круглые немигающие глаза неприятно светились красным. Полковник отшвырнул карточку, написал новую записку, и Зубо опять склонился над клавиатурой.

— Я знаю, что мы должны отказаться, — сказал Хлебовводов. — И я знаю, что мы двадцать раз проклянем себя за такое решение.

— Это еще не самое плохое, что с нами может случиться, — сказал Фарфуркис. — Хуже, если нас двадцать раз проклянут другие.

— Наши внуки, а может быть, даже дети уже воспринимали бы все как данное.

— Нам не должно быть безразлично, что именно наши дети будут воспринимать как данное.

— Моральные критерии гуманизма, — сказал Хлебовводов, слабо усмехнувшись.

— У нас нет других критериев, — возразил Фарфуркис.

— К сожалению, — сказал Хлебовводов.

— К счастью, коллега, к счастью. Всякий раз, когда человечество пользовалось другими критериями, оно жестоко страдало.

— Я знаю это. Хотел бы я этого не знать. — Хлебовводов посмотрел на Лавра Федотовича. — Проблема, которую мы здесь решаем, поставлена некорректно. Она базируется на смутных понятиях, на неясных формулировках, на интуиции. Как ученый я не берусь решать эту задачу. Это было бы несерьезно. Остается одно: быть человеком. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я — против территориального контакта... Это ненадолго! — возбужденно выкрикнул он, всем телом подавшись в сторону неподвижного Пришельца. — Вы должны нас правильно понять. Я уверен, что это — ненадолго. Дайте нам время, мы ведь так недавно вышли из хаоса, мы еще по пояс в хаосе...

Лавр Федотович посмотрел на Фарфуркиса.

— Я могу лишь повторить то, что говорил раньше, — негромко сказал Фарфуркис. — Меня никто ни в чем не переубедил. Я против всякого контакта на исторически длительные сроки... Я абсолютно уверен, — вежливо добавил он, — что высокая договаривающаяся

сторона восприняла бы всякое иное наше решение как свидетельство самонадеянности и социальной незрелости. — Он коротко поклонился в сторону Пришельца.

— Полковник? — произнес Лавр Федотович.

— Категорически против всякого контакта, — отозвался полковник, продолжая писать. — Категорически и безусловно. — Он перебрал Зубо очередную записку. — Обоснований не привожу, но прошу оставить за мной право сказать еще несколько слов по этому поводу через десять минут.

Лавр Федотович осторожно положил диктофон и медленно поднялся. Пришелец тоже поднялся. Они стояли друг против друга, разделенные огромным столом, заваленным справочниками, футлярами микроки, катушками видеоманитной записи.

— Мне нелегко сейчас говорить, — начал Лавр Федотович. — Нелегко уже потому, что обстоятельства требуют, вероятно, высокой патетики и слов, не только точных, но и торжественных. Однако здесь, у нас на Земле, все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию. Поэтому я постараюсь быть просто точным. Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как беспрецедентен и сам факт появления инопланетного существа на нашей планете, и как беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на полном прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями. С другой стороны, нам не хотелось бы, чтобы такой категорический, недружелюбный по форме отказ углубил бы пропасть между нашими культурами, пропасть, и без того едва преодолимую. Мы имеем заявить, что идея контакта между различными цивилизациями в космосе признается нами в принципе полезной и многообещающей. Мы имеем подчеркнуть, что идея контакта с древнейших времен входила в сокровищницу самых лелеемых, самых гордых замыслов нашего человечества. Мы имеем уверить вас, что наш отказ ни в коем случае не должен рассматриваться вами как движение враждебное, основанное на скрытом недружелюбии или связанное с физиологическими и иными инстинктивными предрассудками. Нам хотелось бы, чтобы причины отказа были вам известны, вами поняты и если не одобрены, то, по крайней мере, приняты к сведению.

Хлебовводов и Фарфуркис в неподвижном напряжении, не мигая, глядели на Лавра Федотовича. Полковник получил ответ на последнюю записку, сложил все карточки в аккуратную пачку и тоже стал смотреть на Лавра Федотовича.

— Неравенство между нашими цивилизациями огромно, — продолжал тот. — Я не говорю о неравенстве биологическом — природа одарила вас более щедро, чем нас. Не стоит говорить и о неравенстве социальном — вы давно уже прошли ту стадию общественного развития, в которую мы едва лишь вступили. И уж конечно, я не говорю о неравенстве научно-техническом — по самым скромным подсчетам, вы обогнали нас на несколько веков. Я буду говорить о прямом следствии этих трех аспектов неравенства — о гигантском психологическом неравенстве, которое и является главной причиной неудач наших переговоров. Нас разделяет гигантская революция в массовой психологии, к которой мы только начали готовиться и о которой вы, наверное, давно уже забыли. Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем ВАМ нужны дружба и сотрудничество с нами. Ведь мы только-только вышли из состояния непрерывных войн, из мира кровопролития и насилия, из мира лжи, подлости, корыстолюбия, мы еще не отмылись от грязи этого мира, и когда мы сталкиваемся с явлениями, которые наш разум не способен вскрыть, когда в нашем распоряжении остается только наш огромный, но не освоенный еще опыт, наша психология побуждает нас строить модель явления по нашему образу и подобию. Грубо говоря, мы не доверяем вам, как не доверяем все еще самим себе. Наша массовая психология базируется на эгоизме, утилитаризме и мистике. Установление и расширение контактов с вами означает

для нас прежде всего угрозу невысказанного усложнения и без того сложного положения на нашей планете. Наш эгоизм, наш антропоцентризм, тысячелетиями воспитанная в нас религиями и наивными философиями уверенность в нашем изначальном превосходстве, в нашей исключительности и избранности — все это грозит породить чудовищный психологический шок, вспышку иррациональной ненависти к вам, истерического страха перед вашими невообразимыми возможностями, ощущение огромного унижения и внезапного падения с трона царя природы в грязь. Наш утилитаризм породит у огромной части населения стремление бездумно воспользоваться материальными благами прогресса, доставшегося без усилий, даром, грозит необратимо повернуть души к тунеядству и потребительству, а, видит бог, мы уже сейчас отчаянно боремся с этим как со следствием нашего собственного научно-технического прогресса. Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядет и снимет с нас все заботы и всю ответственность, что касается этой оборотной стороны нашего эгоизма, то вы, вероятно, даже представить себе уже не можете, каков будет в этом смысле результат вашего постоянного присутствия у нас на планете. Я надеюсь, вы теперь и сами видите, что расширение контакта грозит свести к нулю то небольшое, что нам с огромным трудом удалось пока сделать в области подготовки к революции в психологии. И вы должны понимать, что не в вас, не в ваших достоинствах и ваших недостатках лежит причина нашего отказа от контакта — она лежит только в нас, в нашей неподготовленности. Мы отчетливо понимаем это и, категорически отказываясь от расширения контакта с вами сегодня, мы отнюдь не собираемся увековечивать такое положение. Поэтому мы, со своей стороны, предлагаем...

Лавр Федотович повысил голос, и все встали.

— Мы предлагаем ровно через пятьдесят лет после вашего отлета повторить встречу полномочных представителей обеих цивилизаций на северном полюсе планеты Плутон. Мы надеемся, что к этому времени мы окажемся более подготовленными к обдуманному и благоприятному сотрудничеству наших цивилизаций.

Лавр Федотович кончил и сел, и все мы сели. Остались стоять только полковник и Пришелец.

— Присоединяясь целиком и полностью к содержанию и форме изложенного здесь председателем, — резко и сухо заговорил полковник, — я считаю своим долгом, однако, не оставлять никаких сомнений у высокой договаривающейся стороны в нашей решимости всеми средствами не допускать контакта до условленного времени. Полностью признавая огромное техническое, а следовательно, и военное превосходство высокой договаривающейся стороны, я тем не менее считаю своим долгом совершенно недвусмысленно заявить, что любая попытка насильственного навязывания контакта, в какой бы форме она ни предпринималась, будет рассматриваться с момента вашего отлета как акт агрессии и будет встречена всей мощью земного оружия. Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших боевых средств, будет уничтожаться без предупреждения...

— Ну товарищи! — прервал его Фарфуркис. — Ну невозможно же работать, ну куда мы опять заехали?

Полковник пожевал губами, мутно огляделся, сел и тотчас же захрапел с присвистом.

— Да, да! — сказал Хлебовводов. — Надо кончать. Я тут в меньшинстве, но я — что? Я — пожалуйста... Не хотите его в милицию, не надо. А только рационализировать нам этого фокусника как необъясненное явление, ей-богу, ни к чему. Подумаешь, отрастил себе еще две руки...

— Не берет, — горько произнес невидимый Эдик. — Ничто их не берет. Разве плохой был этюд?

— Отличный этюд, — торопливо шепнул я. — Отличный... Только ты не уходи, сейчас тут начнется...

— Грррм, — сказал Лавр Федотович, остекленел взором и разразился небольшой речью, из которой следовало, что народу не нужны необъясненные явления, которые могли

бы представить, но по тем или иным причинам не представляют документацию, удостоверяющую их право на необъясненность. С другой стороны, народ давно уже требует беспощадного выкорчевывания бюрократизма и бумажной волокиты во всех инстанциях. На основании этого тезиса Лавр Федотович выражал общее мнение в том смысле, что рассмотрение дела семьдесят два надлежит перенести на декабрь месяц текущего года с тем, чтобы дать возможность товарищу Константинову К.К. отбыть по месту постоянного жительства и успеть вернуться оттуда с надлежаще оформленными документами. Что же касается оказания товарищу Константинову К.К. материальной помощи, то Тройка имеет право оказывать таковую или ходатайствовать об оказании таковой лишь в тех случаях, когда проситель представляет собой идентифицированное ею, Тройкой, необъясненное явление. А поскольку товарищ Константинов К.К. как таковое явление еще не идентифицирован, то и вопрос о предоставлении ему помощи откладывается до декабря, а точнее — до момента идентификации...

Большая Круглая Печать на сцене не появилась, и я облегченно вздохнул. Но рано, рано! Константин, который в ситуации так до конца и не разобрался и которого уже давно, надо полагать, распирало, демонстративно, очень по-нашему, плюнул и исчез.

— Это выпад! — сейчас же закричал Хлебовводов радостно. — Видали, как он харкнул? Весь пол заплелал!

— Возмутительно, — согласился Фарфуркис. — Я квалифицирую это как оскорбление.

— Я же говорил — жулик! — сказал Хлебовводов. — Надо связаться с милицией, пускай его посадят на пятнадцать суток, пускай он улицы пометет в четыре руки!..

— Не-ет, товарищ Хлебовводов, — возразил Фарфуркис. — Здесь уже не милицией пахнет, здесь вы недооцениваете, это плевок в лицо общественности и администрации, это дело подсудное!

Лавр Федотович безмолвствовал, но его короткие веснушчатые пальцы возбужденно бегали по столу — то ли он искал какую-то особенную кнопку, то ли телефон. Запахло политической уголовщиной. Выбегалло, которому на Константина было глубоко начхать, не мычал и не телился, а между тем налитые глаза уже хищно сверкали, загривки щетинились, клыки готовы были рвать, а когти — драть.

Я прокашлялся и с самым решительным видом попросил внимания. Внимание было мне даровано, хотя и не слишком охотно, — время собирать камни уже миновало, наступило время камнями убивать.

Стараясь говорить по возможности более веско, я напомнил Тройке, что в ее интересах занимать галактоцентрические, а отнюдь не антропоцентрические позиции. Я напомнил, что обычаи и способы выражения чувств у инопланетных существ могут и должны сильно отличаться от человеческих. Я обратился к изжеванной аналогии с обычаями различных племен и народов нашей планеты. Я выразил уверенность, что товарища Фарфуркиса не удовлетворило бы потирание носами в качестве приветствия, принятое некоторыми народами Севера, но что товарищ Фарфуркис все-таки вряд ли воспринял бы это потирание как унижение его положения члена Тройки. Что касается товарища Константинова, то обычай сплевывать на землю избыток жидкости определенного химического состава, образующейся в ротовой полости, обычай, означающий у некоторых народов Земли неудовольствие, раздражение или стремление оскорбить собеседника, может и должен у инопланетного существа выражать нечто совершенно иное, в том числе и глубокую благодарность за внимание. Так называемый плевок товарища Константинова мог представлять собой и чисто нейтральную акцию, связанную со спецификой физиологического функционирования его организма... («Чего там — функция! — заорал Хлебовводов. — Заплелал весь пол, как бандит, и смылся!») Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве...

Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича

двигались все медленнее и медленнее и наконец покойно улеглись на бюваре. Хлебовводов все еще продолжал угрожающе рывкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента, в тайниках души надеясь, видимо, что проклятого пришельца либо вышлют в двадцать четыре часа, либо отдадут под суд, но уж во всяком случае снимут у него с отчетности.

— Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в Колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в Колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе, многие из них морально опустошены, почти никто не разбирается в международном положении, а самые отсталые из колонистов — например, дух некоего Винера — даже не понимают, где они находятся. В результате — аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию Колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда... И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта Колонии товарища Зубо к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести, а это, в свою очередь, есть просчет товарища Зубо, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «В чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зубо и обязать его повысить уровень воспитательной работы во вверенной ему Колонии!

Фарфуркис закрутился, и за коменданта принялся Хлебовводов. Речь его была несвязна, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока Хлебовводов орал: «Я тебя поплююсь!.. Ты понимаешь что или совсем ошалели?..» — «Гррррм», — сказал наконец Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами.

Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии Тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К.К. получил предупреждение в дело за хождение по потолку в обуви. Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а Хлебовводов — за нарушение административной этики, выразившееся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К. К. Выбегалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде.

— Других предложений нет? — осведомился Лавр Федотович. Хлебовводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил: — Есть также предложение напомнить некоторым членам Тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе.

Теперь получили все. Никто не был забыт, и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась, все, даже комендант, повеселели. А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово произнес:

— Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно — старый дурак!

Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне: то ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее восьмидесяти лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего три юбилейные медали «XX лет РККА», «XXX лет Советской армии» и «40 лет Вооруженных сил». Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепаными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перед себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже апокалиптическим: по полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы как один — на третьей скорости... Но тут я вспомнил, что полковник был современником и, может быть, даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения, и тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на головы ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах...

— Следующий, — произнес Лавр Федотович. — Доложите, товарищ Зубо.

— Дело номер второе, — зачитал комендант. — Фамилия: прочерк. Имя: прочерк. Отчество: прочерк. Кличка: Кузьма.

Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик, — шепотом позвал я. — Ты здесь?» — «Здесь», — отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик, — попросил я. — Кузьку надо спасти...»

— Год и место рождения, — продолжал комендант. — Не установлено. Вероятно, Конго.

— Он что, немой, что ли? — благодушно осведомился Хлебовводов.

— Говорить не умеет, — ответил комендант. — Только квакает.

— От рождения такой?

— Надо полагать, да.

— Наследственность, стало быть, плохая, — проворчал Хлебовводов. — Оттого он и в бандиты подался... Судимостей много?

— У кого? — спросил ошарашенный комендант. — У меня?

— Да нет, почему — у тебя? У этого... у бандита. Как его там по кличке? Васька?..

— Протестую, — нетерпеливо сказал Фарфуркис. — Товарищ Хлебовводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем в инструкции в параграфе восьмом главы четвертой части второй предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом.

— А! — сказал Хлебовводов разочарованно. — Собака какая-нибудь. А я думал — бандит... Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир...

— Я протестую! — плачущим голосом закричал Фарфуркис. — Это нарушение регламента! Так мы до ночи не кончим!

Хлебовводов поглядел на часы.

— И верно, — сказал он. — Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток, где ты там остановились?

— Пункт пятый, — прочитал комендант. — Национальность: птеродактиль.

Все содрогнулись, но время поджимало, и никто не сказал ни слова.

— Образование: прочерк, — продолжал читать комендант. — Знание иностранных языков: прочерк. Профессия и место работы в настоящее время: прочерк. Был ли за границей: вероятно, да...

— Ох, это плохо! — пробормотал Хлебовводов. — Плохо это! Ох, бдительность... Птеродактиль, говорите? Это что же — белый он? Черный?

— Он, как бы это сказать, сероватый такой, — объяснил комендант.

— Ага, — сказал Хлебовводов. — И говорить не может, только квакает... Ну ладно, дальше.

— Краткая сущность необъясненности: считается вымершим пятьдесят миллионов лет назад.

— Сколько? — переспросил Фарфуркис.

— Пятьдесят миллионов тут написано, — несмело сказал комендант.

— Несерьезно все это как-то, — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. — Да читайте же, — простонал он. — Дальше читайте!

— Данные о ближайших родственниках: вероятно, все вымерли. Адрес постоянного местожительства: Китежград, Колония необъясненных явлений.

— Прописан? — строго спросил Хлебовводов.

— Да вроде как бы прописан, — ответил комендант. — Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма. — В голосе коменданта послышались нежные нотки: Кузьке он покровительствовал.

— У вас все? — осведомился Лавр Федотович. — Тогда есть предложение вызвать дело.

Других предложений не было, комендант отдернул штору на окне и ласково позвал:

— Кузь-Кузь-Кузь-Кузь... Вон, сидит на трубе, паршивец, — произнес он нежно. — Стесняется... Стеснительный он очень. Ку-у-узь! Кузь-Кузь-Кузь... Летит, жулик, — сообщил он, отступая от окна.

Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.

— Это он здоровается, — пояснил комендант. — Ве-е-ежливый, сукин кот, все как есть понимает.

Кузька оглядел Тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом — огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебовводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая...»

— Кусается? — спросил Фарфуркис опасливо.

— Как можно! — сказал комендант. — Смирное животное, все его гоняют, кому не лень... Конечно, если рассердится... Только он никогда не сердится.

Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузька слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях.

— Грррр! — удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль.

Обстановка складывалась благоприятно.

— Я думал, это лошадь какая-нибудь, — бормотал Хлебовводов, ползая под столом.

— Разрешите мне, Лавр Федотович, — попросил Фарфуркис. — Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение. Присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности? Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?

Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал Тройке, что прическа Мари Брийон неизменно приводила в восхищение

всех собиравшихся на рауты у барона де Водрейля, какого факта он, научный консультант, не может не признать; что необъяснимость... эта... данного ля птеродоктэля Кузьма лежит, значить, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису; что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, научного консультанта, истина дороже; что крылатость крокодилов или, точнее, наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев до сих пор наукой не объяснено, а потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные клуберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу; что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой.

Пока Выбегалло трепался, в поте лица отработывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно: передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ — Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей, который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению... Нет-нет, это было невозможно. Тем более что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование — без равнодушного общипывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штук. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным, у них нашлось много общего, и, если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы...

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Какие будут вопросы к докладчику?

— У меня вопросов нет, — заявил Хлебовводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. — Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводит тут нам тень на плетень... И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо: крокодил с крыльями — самая простая штука, а возятся с ним как с писаной торбой. Гнать его нужно из Колонии, пусть работать идет...

— Как же работать? — сказал комендант, очень болевший за Кузьму.

— А так! У нас все работают! Вон он, здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить... или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал... и крылатых, и всяких...

— Как же так? — страдал комендант. — Он же все-таки не человек, он же все-таки животное, у него диета...

— Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет! Диета у него... У меня вот тоже диета, а я из-за него без обеда сижу... — Однако Хлебовводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебовводов сделал вдруг резкий поворот. — Пойдите, пойдите! — заорал он. — Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал?.. Ну да, тот самый и есть! Это что же — и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зубо, не выкручивайтесь, ты мне прямо скажите: меры были приняты?

— Были, — сказал комендант с горячностью.

— Какие именно?

— Слабительного ему дали, — сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть.

Хлебовводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебовводов опять пытается навязать Тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Кр-рокодил с крыльями? Ценно, очень ценно. Огнемет!» — и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листов, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря.

В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, ни к кому специально не обращаясь, прохрипел:

— Кому здесь почту сдать?

На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление.

— Почему нашей работе мешают? — осведомился он ровным голосом. — Товарищ Фарфуркис, в чем дело?

— В чем дело, товарищ Зубо? — мгновенно остервенев, вскричал Фарфуркис. — Что за безобразия?

Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.

— Безобразие какое! — кипятился Фарфуркис. — Наглость какая!

— Уволить их обоих, — кровожадно потребовал Хлебовводов. — Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник...

Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо. «Вот оно! — шепнул мне Эдик. — Начинается!» Фарфуркис и Хлебовводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами.

Черты Лавра Федотовича смягчились.

— Все? — с незнакомым выражением спросил он.

— Так точно, как есть все, — с горячностью подтвердил комендант.

Лавр Федотович горделиво поднял голову.

— Пусть корреспонденцию внесут, — приказал он.

— Заноси! — крикнул комендант.

Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк, потом второй такой же, потом третий.

— Счастливенько вам оставаться, — сказал он, ни на кого не глядя, и удалился.

— Грррм, — произнес Лавр Федотович. — Ввиду не предусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается немедленно приступить к производству разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?

— Неужели же все это — из научных учреждений? — благоговейно спросил Хлебовводов.

— Да, — ответил Лавр Федотович просто. — И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебовводов.

— Нет, я это к чему?.. — сбивчиво забормотал Хлебовводов. — Я ведь это только к тому, что если все это из научных... тогда как же получается... тогда это же, надо полагать, все заявки, требования, поди...

— Есть такое мнение, что все это — заявки, — сказал Лавр Федотович и поднялся. — Заседание Тройки прерывается до восемнадцати ноль-ноль. — Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему: — Ну вот, товарищ Зубо, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. Как вы на это посмотрите?

— Эх! — сказал героический комендант. — Лавр Федотович! Товарищ Вунюков!

Христом богом... Спасителем нашим... нет же у нас в городе зоологического сада!

— Будет! — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил: — Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит.

Взрыв предобеденного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечернее заседание Тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами «Герцеговина Флор». Хлебовводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом ренессанса, Выбегалло впервые за лето помылся и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверх меры черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой: «Вот, товарищ Зубо, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся».

Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгуче-черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: «Не бе!», Роман похлопал по плечу со странными словами: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!», а Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0,98.

— Э-гхм! — произнес наконец Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. — Вечернее заседание Тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису.

Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал. Он сообщил, что, согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены: дело номер девяносто семь, так называемый Черный Ящик, и дело номер шестьдесят пять гражданина Долгоносикова Н. П., называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер два о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений на звание сенсации месяца для широкого опубликования в прессе. Однако в связи с изменившимися обстоятельствами Тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня.

Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес Тройки прибыло около десяти тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп ста восьмидесяти различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собою необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники, с одной стороны, и миром необъясненных явлений — с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня.

Он, Фарфуркис, со своей стороны, предлагает следующее. Рассмотрение дела номер пятьдесят пять и девяносто семь, а также дорассмотрение дела номер два отложить. (Аплодисменты.) По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. (Бурные аплодисменты.) После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания — к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных

учреждений. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Лавр Федотович, дождавшись окончания орации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня, и предложил перейти к письмам от населения.

Писем оказалось семь.

Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего, бывшего отличника Василия Кормилицына, она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили Тройку разобраться в этой ведьме, в которую они как пионеры не верят, и чтобы Тройка объяснила научно, как она портит урожай и как превращает отличников в двоечников.

Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргунька Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования хунвэйбинов и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнение в целесообразности такого решения. Братья полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы.

Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога — хотя бы в одну сторону.

Житель города Китежграда Заядлый П.П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы.

Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевко С. Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зубо, использующий отходы колониетской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца зятя.

Сельский врач из районного центра Бубново сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю согдийскую монету. Врач обращал внимание Тройки на тот факт, что гр. Панцерманов (ныне покойный) в Средней Азии никогда не был и найденной монеты никогда прежде не видел. На остальных сорока двух страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину.

И наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре.

Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалле. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы. Он даже изобрел стандартную форму ответа: «Уважаемый (ая, ые) гр.! Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни». Подпись. Все. По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что «Гр. Щин просверлил в моей стене отверстие и пускает сквозь него отравляющих газов».

Затем Тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание сенсации месяца. Каждый член Тройки предложил своего кандидата. Хлебовводову, например, нравился заведующий Китежзаготскотом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимиле великих деятелей Китежградского района. «Такие люди на земле не валяются, — заявил Хлебовводов. — Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание — сила». Корреспонденция называлась: «Она слышит, видя, и видит, слыша». Полковнику тоже

предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключение Лавр Федотович сказал «грррм» и, выразив общее мнение Тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на двести — двести десять процентов. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили.

И тогда началось главное.

Слово о предварительном результате разбора прибывшей в адрес ТПРУНЯ корреспонденции было предоставлено профессору Выбегалле. Профессор доложил, что всего прибыло, значить, около десяти тысяч заявок и требований от ста восьмидесяти по крайней мере различных учреждений. Разобрано пока около тысячи заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, всего на тридцать семь необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона — сорок пять заявок, на вечный двигатель второго рода — тридцать девять заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для трисекции угла — тридцать одна заявка, на эвристическую машину Машкина — двадцать две заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии Наук — семь, членов-корреспондентов — девятнадцать, докторов разных наук — семьдесят пять, а все прочие — сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это, значить, у нас из тысячи. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на десять, тогда получится всего этого в десять раз больше, то есть академиков получится семьдесят, членкоров — сто девятнадцать эт цетера. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она вместе со всеми этими заявками говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей Тройки и в особенности о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. Се нотр опиньён,¹⁸ — закончил он и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией.

Воспользовавшись паузой, Хлебовводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики ни старались, как ни выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело — всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитать, а другое дело — науку двигать и вообще осуществлять руководство, как он, Хлебовводов, например, в бытность свою главным бухгалтером «ВНИТАГОРА». Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит.

Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился.

Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке, невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернуться. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего высокоценного руководителя, нашего — я не боюсь этого слова, но поймите меня правильно — вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то: цифрами, графиками, анкетами и вычислениями.

Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах вверенной ему Тройки, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень

¹⁸ Таково наше мнение.

всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы Тройки в связи с изменившимися условиями?

Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебовводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом Тройки комендант товарищ Зубо обязался бы увеличить свой рабочий день до четырнадцати часов, а научный консультант товарищ Выбегалло отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что Тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще пятьдесят три старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело была не одна, не две, а десятки заявок, и все на бланках, и все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что Тройка выполнила план прошлого года всего на шестьдесят два процента, а план минувшего полугодия — лишь на тринадцать процентов, и кроме того комендант мстительно напомнил Хлебовводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел двух-, трех — и четырехлетней давности.

Только теперь, по-видимому, Тройка осознала наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении Тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на десять. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебовводов понимал, что увеличение и без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании: профессор Выбегалло. Он предложил передать часть дел некоей Двойке в составе пяти человек, заседающей в городе Харахото и занятой рационализацией всего лишь одного необъясненного явления — электрического червяка олгой-хорхоя. Лучше бы Выбегалло сидел себе тихо да копался в бороде, не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет Тройки... Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу: «Мон шер си ву кондуизезиси ком у себя дома вуфинире тре маль».¹⁹ Вот тут и наступила кульминация кризиса, которой, как видно, дожидались мои магистры.

Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между собой, решили предложить уважаемой Тройке посильную помощь, а именно — взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше десяти заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебовводов. Много вас тут таких, орал он. Арбитраж им подавай, видишь ты. Молод еще академиками распорядиться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили! Нет, браток, не будет по-твоему. Не перед тобой они будут ходить...

— Грррм, — произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. — Какие будут еще

¹⁹ Мой дорогой, если вы будете здесь вести себя, как дома, вы кончите очень плохо.

предложения?

Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно, раньше дела, на которое подано сорок заявок, но недавно...

По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. А как же мой Клоп, плакался Эдик. О, мой спрут Спиридон, стонал Роман. Несправедливо, старых клиентов зажимаете, мрачно рычал Витька. Обидно же, поддывал я. Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись...

Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательны и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же в связи с внедрением социологии мы всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. Вы же грамотные люди! Если на дело подано сорок заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав. Во всей нашей огромной науке вы — единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона — это безусловно нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок...

Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для Тройки, если не считать морального удовлетворения, не было никакого. Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но при всем при том полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у Тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный Выбегалло перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что... эта... молоды они, конечно, еще, до арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел тоже, а вот нет ли средства, значить, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам, к этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким... Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались... Только неясно вот, как это нам лучше проветилировать...

Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась. Фарфуркис листал записную книжку, в глазах у Хлебовводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая... И вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнуло затхлой канцелярщиной, и странный, бесплотный голос прошептал: «Подкомиссию бы...»

— Грррм? — сказал Лавр Федотович.

— Да-да! — подскочил Фарфуркис.

— Вер-рна! — возликовал Хлебовводов.

Лавр Федотович поднялся.

— Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю создать из присутствующих здесь представителей Подкомиссию по малым делам в количестве четырех человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю Тройки. Куратором Подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис, председателем Подкомиссии — товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы Подкомиссии в понедельник в девять ноль-ноль. Другие предложения есть? Вопросы есть?

У меня были вопросы, у меня было множество вопросов и десятки предложений. Но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста Печатью Молчания Эйхмана — Ежова.

— Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Выбегалле в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебовводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зубо завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный — товарищ... э-э... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет... На этом объединенное заседание Тройки и Подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю Подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.

Поскольку я все порывался избавиться от Печати Молчания контрзаклинанием Израэля — Жукова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить.

И я говорил.

Когда я выдохся, Корнеев сказал:

— Ну и грубиян ты, Сашка. А я-то думал, ты у нас тихий, воспитанный.

— Нехорошо, нехорошо, — подтвердил Роман. — Да еще при посторонних...

Только теперь я заметил, что в номере, кроме нас, находятся еще двое молодых людей, судя по всему — младших научных сотрудников.

— Ну как? — спросил один из них с жадностью. — Выгорело?

— О да! — сказал Роман. — Разрешите представить вам председателя Подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, — мелочь всякая, крокодилы им там нужны, клопы и так далее... А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?

И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.

— Грррм, — сказал я. — Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер девяносто семь, именуемое Черный Ящик, и передать его присутствующему здесь Привалову А.И. Другие предложения есть? Нет предложений. Принято. Протокол!

Передо мною лег протокол.

— Следующий, — провозгласил я. — Товарищ Корнеев, доложите!

Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за пять минут рационализировали и распределили Клопа Говорящего, Жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Амперяна. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии Наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма.

— А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса.

— Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подана в общей совокупности двести одна заявка, и достанется он, несчастный, Кристобалу Хунте.

Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился.

— То есть как? — сказал я. — Разве заявки настоящие?

— Ну, естественно, — удивился Эдик. — За кого ты нас принимаешь?

— Обижаешь, начальник. Мы не уголовники какие-нибудь, — сказал Корнеев. — Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя — солидарность научной общественности называется? Особенно когда дело касается товарища Вунюкова...

— О! — с чувством сказал я. — Это гениально.

Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпеливо покашливали.

— Да, да, конечно, — сказал им Роман. — Времени у нас мало.

— Мало? — переспросил я. — Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще! У меня своих дел хватает, я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь. Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание Подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав Подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск.

— Правильное решение! — сказал один из этих типов, алчно потирая руки.

— Но имейте в виду, — сказал я. — Пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях Тройки и Подкомиссии. Это вас закалит.

— Идет, — согласился другой из этих типов.

— И не забывайте содержать в полном порядке отчетность, — напомнил я. — Отчетность — это главное. — Я собрал протоколы и встал. — Ну ладно. Кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него Большую Круглую Печать.

Библиотека сайта «Вселенная Братьев Стругацких» - strugatskie.com